СИБИРЬ

6 90

Протоиерей Сергий БУЛГАКОВ.
Слово на Рождество Христово

Н. А. СОКОЛОВ.
Убийство царской семьи

Борис ЛАПИН.
Голубые зарницы Язона


ѠБРАЗЪ НОВОМУ
ЗА ХРІСТА СМЕРТЬ
ІС
ХС
ЧЕНИКОВЪ РОССІЙСКИХЪ
ПРІЯВШИХЪ

СИБИРЬ

6 90

Литературно-художественный и общественно-политический двухмесячник

Орган Иркутской и Читинской писательских организаций РСФСР

Основан в 1930 году

СОДЕРЖАНИЕ

Иркутск Восточно-Сибирское книжное издательство

На 2-й с. обложки
фото Б. Дмитриева
«У водопада. Тофалария»

ISSN 0132—6740



Протоиерей

Сергий Булгаков (1871—1944)

С НАМИ БОГ

СЛОВО НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

И сказал им ангел: я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь.

(Лк. 2, 10—11)

Великая радость эта, всех радостей радость, есть пришествие в мир сшедшего с небес Господа,— с нами Бог вочеловечившийся! Ей подобною является лишь пришествие в мир «Другого Утешителя», Христом посланного от Отца вместо себя, в день пятидесятницы. В праздновании Рождества Христа сердце человеческое призывается вмещать эту божественную радость, до нее расшириться. И она не знает для себя предела иного, кроме как в нашей немощи, она имеет возрастать от меры в меру, во веки веков, в жизни настоящей и будущей. В нашей земной доле мы, как бы покоряясь, отдаемся ей в своем ликовании, но вместе с тем призываемся и к подвигу радости как подвигу веры. Так было уже и с пастырями вифлеемскими, которые возвещены были от ангела о Рождестве Христовом. Их «осияла слава Господня» и «они убоялись страхом великим» (Лк. 2,9). И они не сразу вошли в данную им радость. Но, лишь пойдя в Вифлеем, они возвратились, «с л а в я и х в а л я Бога» (Лк. 2,20). Ибо то радость была не земная, но божественная, не чувственная, но духовная. К ней нужно было восходить, в смирении и трепете сердечном постигая совершившееся. Так же и волхвы, в мудрости сердца чаявшие издавна пришествия Господа и Его познавшие в явлении звезды, отправились в далекий путь, преодолевая трудность и безвестность его, ведомые таинственной звездой. И только увидевши остановившуюся над Младенцем звезду, они «возрадовались радостию весьма великою» (Мт. 2,10). Так совершился в подвиге веры подвиг радости их.

И для сердечной простоты пастухов, и для мудрости волхвов одинаково оказался нужным подвиг радости и его труд. Напрасно нам кажется на расстоянии времен, что тогда эта радость пришествия Господа в мир, божественное о нем веселие, благодаря этим знамениям святой ночи, были доступнее, нежели нам теперь, лишенным этих знамений. Однако и тогда они были сокровенны и доступны лишь подвигу веры. И тогда, кроме явления ангелов пастухам и вифлеемской звезды волхвам в мире ничто не говорило о совершившемся. «Знаком» пришествия в мир Христа, обещанным ангелом, для пастухов явилось то, что они решили пойти в Вифлеем посмотреть, что там случилось, а пришедши, нашли Марию и Иосифа и Младенца, лежащего в яслях» (Лк. 2,16), — Царя Иудейского, не в славе, но в нищете и убожестве. И когда перед лицом этого смирения они по-

ведали, что было возвещено им ангелами о Младенце сем, то рассказ их явился дивным и как бы новым для услышавших: они «дивились» ему. Даже о Марии самой сказано евангелистом (Лк. 2,19), что она «сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем», а она ранее того уже слышала обетование о том же рождении из уст Гавриила, архангела Благовещения. Но чрез небесные громы, но в шепоте пещерном было возвещено пришествие в мир Богочеловека. За пределами же пещеры вифлеемской никто ничего не знал. Мир тогда не приметил пришествия Господа в рассеянии, нечувствии, духовном окаменении своем. И только сатанинская злоба князя мира сего подвигла послушное свое орудие, Ирода, выведать от волхов о рождении Царя Иудейского, ища погубить Его. Посему воцарение «Царя Иудейского» началось бегством в Египет вместе с Матерью Его. Рождество Христа, в небесах прославляемое пением ангелов, на земле было встречено убиением младенцев вифлеемских. Далее же Младенец вместе с Матерью надолго сокрывается в безвестности, до времени открытого своего служения, закончившегося распятием на кресте Царя Иудейского. Является поэтому истинным чудом духовным, более потрясающим, чем земные чудеса, само это священное молчание, облекшее покровом неведения и тайны пришествия Христа в мир, но оно уже явилось и наиболее действенною проповедью о Нем.

А ныне рождественская ночь встречается миром не в священной тишине, но в громах землетрясения, в сгущении ужасов взаимного истребления человеческого. Мир не слышит небесного пения ангелов, не ищет поклониться Младенцу в вертепе, не хочем ли не в силах приметить пришествие Его. Оно как будто стало не нужно миру, который собственными силами умеет лишь обратиться во ад. Такова страшная действительность, от которой стынет сердце в зимнюю ночь мира, как бы безрассветную. Однако, если всегда и во все времена можно и нужно говорить о подвиге радости как подвиге веры, теперь это получает особую силу, когда тьма, сгущающаяся над миром, хочет угасить вифлеемскую звезду и от исступления человеческой вражды снова распинается Христос. И ныне можно и должно проповедовать и исповедовать радость богоявления и радоваться ей под грозы войны, о которых предвозвещено Христом: «Услышете о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь» (Мт. 24,6). Празднование Рождества Христова должно являться ныне духовной победой веры вопреки земной очевидности.

Вместе с земной бранью и в небесах происходит брань духовная, а в мире незримо совершается собирание и напряжение сил духовных, пока еще и не получающее осязательного для себя проявления. Земные державы ищут для себя своих земных вождей, мы же, Христовы, собираемся около Царя царствующих, Царя Небесного. Ответом нашим на знаки и печати «зверя и лжепророка», о которых нас предваряет Откровение, да будет знамение креста Христова: сим победиши, с нами Бог.

С нами Бог, сошедший с небес в мир нас ради человек и вочеловечившийся нашего ради спасения. От рождества своего Он с нами и в нас пребывает Духом Святым по неложному своему обетованию. «Се Аз с вами во вся дни до скончания века» (Мт. 28,20). Наша неразлучность со Христом переживается и подтверждается в светлый праздник Рождества Христова, когда Церковь поет: «Христос рождается — славите!» И мы должны входить в его силу. Рождество Христово есть не только величайшее в единственности своей событие в жизни мира, но и навсегда продолжающееся пришествие в него Христа. Когда Он жил среди нас и на этой земле ступали Его пречистые ноги, а Его лик зрели человеческие очи, то была радость и откровение от земного Его присутствия. Однако пришло время с Ним разлучения в крестной смерти Его. Хотя после Его воскресения Господь снова еще являлся ученикам, после сорока дней Он вознесся на небо, Он оставил мир сей.

Но Господь, оставляя мир, ублажал учеников своих, а с ними и всех нас, своим обетованием: «Не оставлю вас сирыми, приду к вам» (Ио. 14,18), «приду опять и возьму вас к себе» (Ио. 14,3). Также и ангелы на горе Вознесения сказали апостолам: «Что вы стои-

те и смотрите на небо! Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1,11). И ученики приняли это обетование, они согласились жить в этом ожидании. После вознесения они «возвратились в Иерусалим с горы» (Деян. 1,11), и для них началась иная жизнь, хотя духовно и со Христом и во Христе чрез пришествие посланного Им «Другого Утешителя», но уже лишенная земного Его пребывания. Об этом отшествии Христа из мира и ныне вопрошает любовь наша, в праздник первого Его пришествия в мир, помышляя об Его возвращении. Перестали ли святые апостолы, и мы вместе с ними, «смотреть на небо» в священном ожидании и молитвенном вопрошании. Забыли ли они, и мы вместе с ними, обетование ангелов, возвещавших не только первое пришествие Христово в Рождестве Его, но и Его грядущее в мир возвращение? Нет, не перестали, не забыли, не можем и не хотим забыть. Но проходит век за веком, и люди все более разучаются «смотреть на небо», ожидая Господа. Они не разлучены с Ним, ибо Он никогда не оставляет Церковь духовным, таинственным своим пребыванием. А то радостное и настойчивое желание встретить Христа, в мир паки грядущего, которое воодушевляло первых христиан, постепенно сменялось благоговейным страхом Страшного Суда Христова во втором пришествии Его, этим спасительным чувством для погрязающего в бездне грехов человечества. Однако остается запечатленным еще и иное обетование. И в сию священную и спасительную ночь Рождества Христова, Его первого пришествия в мир, которого Он не возгнушался в любви своей, да не молчит в нас сия дерзновенная радость о самом пришествии Господа в мир, первом, но не последнем. И, утопая в грехах, не перестанем чаять этого нового Его пришествия, как беспредельной и ничем не выразимой радости новой Его встречи. Знаем, что тогда «восплачутся все племена земные» во страхе и трепете перед страшным судищем Христовым. Но не говорит ли нам еще и другого апостол любви Иоанн Богослов: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх; боящийся не совершен в любви» (I. Ио. 4,18). И в ночь Рождества Христова, когда ангелы в небе возвещают мир на земле и благоволение Божие к человекам, это радость о пришествии Господа в мир робко и дерзновенно да срастворится с смиренно любящим шепотом души, ее немолчным призыванием: «Ей, паки гряди! Не оставь нас сиротами, прииди к нам, явно и таинственно в приближениях и явлениях своих, и в последнем в мир возвращении».

Нам ли, окаянным, и теперь ли, в дни антихристова буйства, в мире взывать и помышлять о сем! Однако должны ли и смеем ли мы угасить в себе эту тоску души — невесты о Возлюбленном! Не есть ли она самая жизнь наша! Не ради достоинства человеческого пришел Господь в мир, но чтобы спасти овча погибшее, которое Он удостоил своего образа. И в обетованиях своих Он предваряет, что новое Его пришествие совершится в последние страшные времена. Но и в темноте мы не слепнем, но с тем большей силою жаждем света И не от греховной немощи, но от верности любви своей Его взыскуем, в простоте души пастырей, в созерцании волхов, в пророческом гласе событий, новом откровении жизни, ими рожденном. Таков да будет ответ наш пред лицом потопа и землетрясения: не испуг, не отчаяние, не утрата веры, но последнее упование.

Чем темнее и страшнее становится в мире, тем ближе Бог, Его свет невечерний. Когда не видятся пути земного спасения, тогда говорит небо, и оттуда оно приходит... По сему торжество Рождества Христова для нас сливается с радостью пасхальной Его воскресения, и славословие ангелов — с их же обетованием о грядущем пришествии Христовом, в мир Его возвращении.

Христос рождается, славите!
Христос с небес, срящите!
Ей, гряди, Господи Иисусе!
Аминь.

1943 год.

Н. А. Соколов

УБИЙСТВО ЦАРСКОЙ СЕМЬИ*

Распутин

Мы знаем теперь, как Государь и Государыня относились к Распутину. Мы видели, на чем покоилось их отношение к нему. Но это не освещает целого множества других явлений, связанных с личностью самого Распутина.

Имел ли Распутин значение в политической жизни страны?

Я думал найти полное разрешение этого вопроса у Руднева, так как это составляло его прямую задачу.

Он говорит в своей сводке, что не добыл указаний на вмешательство Распутина в «политические дела», но в то же время признает, что влияние Распутина при дворе «несомненно было огромно». Указывая, что религиозное настроение царской семьи было причиной влияния Распутина, он говорит, что его влияние на царскую семью было «несомненно большое».

Где правда?

Руднев чувствовал сущность Распутина, так как он называет его «тонким эксплуататором доверия к нему Высоких Особ», но полной картины он установить не мог.

Я старался выяснить ее данными моего следствия.

Конечно, не существовало внешне видимого участия Распутина в политической жизни страны. В такой форме его влияние не могло проявиться, так как, благодаря своим личным свойствам, он не мог открыто выступать на политическом фоне.

Но, оставаясь внешне скрытым, его влияние в действительности было огромно. Одно положение его около Государыни делало из него политическую фигуру, так как люди, узнав, каким положением пользуется Распутин, пошли к нему. Мало-помалу он перестал быть явлением только частной жизни семьи и его политическая роль стала расти.

Его дочь Матрена[1] показывает: «Целый день у отца уходил на прием разных посетителей. К нему обращались с очень разнообразными просьбами: его просили о местах, о помиловании разных лиц, сидевших в тюрьмах».

Жизнь загнала к Распутину одну женщину, которой нужна была его помощь[2]. Она пошла просить за отца, готовая принести в жертву многое. Она показывает: «Ежедневно у Распутина бывало в среднем 300—400 человек народа. Один раз, как мне помнится, было насчитано до 700 человек. Кто бывал? Я видела генералов в полной форме, с орденами, приезжавших к нему на поклон. Бывали студентки, курсистки, просившие денежной помощи. Шли офицерские жены, просившие по разным поводам за своих мужей».

К началу революции его роль была огромна.

Дочь его говорит: «Отец был горячим противником войны с Германией. Когда состоялось объявление войны, он, раненный Хионией Гусевой, лежал тогда в Тюмени. Государь присылал ему много телеграмм, прося у него совета... Отец всемерно советовал Государю в своих ответных телеграммах «крепиться» и войны не объявлять. Я тогда была сама около отца и видела как телеграммы Государя, так и ответные телеграммы отца... Это его так сильно расстроило, что у него открылось кровотечение из раны».

Жильяр показывает: «Сначала влияние Распутина не выходило за пределы интересов семьи. Но потом он приобрел страшное влияние и сохранил его до са-

---

* Продолжение. Начало см. «Сибирь» № 2—5, 1990.

[1] Свидетельница М. Г. Соловьева (дочь Распутина) была допрошена мною 26—27 декабря 1919 года в г. Чите.

[2] Эта свидетельница была допрошена мною 6 августа 1920 года в Париже.

мой смерти. Он имел действительно большое влияние на управление страной; и я имею определенный факт, я знаю положительно, что Протопопов был назначен благодаря Распутину. Распутин имел влияние на дела управления через Императрицу, но он имел значение и в глазах Его Величества».

Жильяр также подтверждает обращение к Распутину за советом по поводу объявления войны.

Занотти показывает: «Мало-помалу Распутин вошел в личную жизнь царской семьи. Для Государыни он был, безусловно, святой. Его влияние в последние годы было колоссально. Его слово было для нее законом. К его мнению она относилась как к мнению непогрешимого человека. Надо говорить правду. Распутин в последние годы часто бывал у нас: несколько раз в месяц. Он и наедине принимался Ее Величеством. Мало-помалу Императрица была совершенно обусловлена волей Распутина. Всю семью она вообще подавляла своим характером: главным лицом, главной волей была она, а не отец, который ей подчинялся. Я убеждена, живя с ними, что Государь, в конце концов, поддался настроению Императрицы: раньше он не был так религиозен, как сделался потом... Императрица в последнее время стала вмешиваться в дела управления. В действительности она и в этом не имела своей воли, а волю Распутина... Вместе с Вырубовой и Распутиным они обсуждали дела управления, сносясь с ним и непосредственно и при посредстве переписок. Из министров в последнее время с ним был близок Протопопов. Это я Вам сообщаю совершенно положительно. Протопопов имел поддержку именно в Распутине и Вырубовой».

Дочь Распутина говорит: «Он, как я думаю, пользовался большим все-таки доверием у Государя во многих делах. Я не знаю, в чем именно было дело, но был, кажется, в 1916 году один случай, когда отец повлиял на Государя. Что-то такое важное должно было случиться, Государь должен был быть в каком-то собрании, где его должны были видеть все министры. Отец уговорил Государя не ездить туда, и Государь его послушался».

В 1915 году одно лицо военно-судебного ведомства по поручению высшей военной власти работало над выяснением роли Распутина в немецком шпионаже[1]. Он показывает: «На почве моей работы состоялось мое знакомство с Распутиным. Он сам искал его. Я не стал уклоняться от этого, так как, чувствуя много раз во время работы его руку, его заступничество за многих лиц, я должен был ради самого себя, ради самой пользы дела узнать его, чтобы убедить самого себя во многих фактах». Показанием этого свидетеля воочию устанавливается связь Распутина с Протопоповым.

Начальник Главного Управления Почт и Телеграфов Похвиснев[2], занимавший эту должность в 1913—1917 годах, показывает: «По установившемуся порядку все телеграммы, подававшиеся на имя Государя и Государыни, представлялись мне в копиях. Поэтому все телеграммы, которые шли на имя Их Величеств от Распутина, мне в свое время были известны. Их было очень много. Припомнить последовательно содержание их, конечно, нет возможности. По совести могу сказать, что громадное влияние Распутина у Государя и Государыни содержанием телеграмм устанавливалось с полной очевидностью. Часто телеграммы касались вопросов управления, преимущественно назначения разных лиц... В телеграммах Распутина Штюрмер назывался «стариком». Я помню, в одной из них Распутин телеграфировал Государю: «Не тронь старика», то есть указывал, что не следует его увольнять. Я помню, что от Распутина исходила одна телеграмма, адресованная Государю или Государыне, относившаяся к Протопопову и указывавшая на связь последнего с Распутиным».

С целью предотвратить участие России в войне с Германией Распутин обращался к Государю с письмом. Это письмо хранилось Государем. Затем в Тобольске он возвратил его семье Распутиных[3].

Главная роль в убийстве Распутина принадлежала князю Юсупову[4]. Он при-

---

[1] Этот свидетель был допрошен мною 15 апреля 1921 года в Париже.

[2] Свидетель Б. В. Похвиснев был допрошен мною 7 мая 1921 года в Париже.

[3] Это письмо было получено мною у известного лица 12 июля 1922 года в Париже.

[4] Свидетель князь Ф. Ф. Юсупов был допрошен мною 3—4 января 1921 года в Париже.

шел к мысли убить Распутина, долго предварительно наблюдая его. С этой целью он конспиративно виделся с Распутиным и добился его доверия.

Князь Юсупов показывает: «Неоднократно, когда я сидел у него, его вызывали по телефону в Царское. Я сидел и ожидал его возвращения. От него самого я узнавал и убеждался в несомненности того, что его вызывали и с ним советовались по самым важным государственным делам, в самых серьезных случаях; что по его выбору назначались ответственные лица и в правительстве, и в армии».

Ограничивался ли Распутин только пассивной ролью советчика, или же он был активен и боролся за свое влияние?

Его дочь говорит: «Чаще всего отец и расстраивался по той причине, что ему противодействовали министры. Он часто приезжал из дворца расстроенный и, когда мы его спрашивали, что с ним, он бранил министров за то, что они дурно влияют на Государя... Отец из-за этого и вздорил с Государем».

Как относились к Распутину дети Царя?

Однажды, когда Наследник был болен в Тобольске и у его постели была учительница Битнер, она, убирая его столик, заметила отсутствие портрета Распутина. Думая, что портрет упал, Битнер стала искать его на полу. Наследник спросил ее, что она ищет. Не желая называть имя Распутина, Битнер сказала, что ищет иконку. Мальчик рассмеялся: «Ну, уж и иконка! Это не иконка! Не ищите!» Битнер говорит: «В его словах ясно чувствовалась ирония. Я знала, что он говорит про портрет Распутина, которого действительно не было на столе. Ясно чувствовалось, что у него в тоне звучало отрицательное отношение к Распутину».

Девушка «с налетом грусти...». Девушка, в душе которой чувствовалось «горе». Это облик Великой Княжны Ольги Николаевны. Слушая свидетелей, невольно думаешь, что она, может быть и смутно, понимала отраву распутинского яда. Она не пожелала, между прочим, присутствовать на панихиде по Распутину, когда он был убит.

Если были намеки на отрицательное отношение к Распутину среди самой царской семьи, не может быть двух мнений, что отрицательное отношение к нему со стороны остальных членов Императорского Дома было всеобщим.

Как реагировал на это Распутин?

В конце 1916 года Государь был в Киеве. Там ему сообщено было о желании родственных кругов устранить Распутина и пойти на реконструкцию власти. В общем мнении родственников звучал также голос самого близкого Государю человека.

По возвращении Государя в ставку Штюрмер был уволен, и на его место был назначен А. Ф. Трепов. Но самая одиозная фигура в составе правительства — А. Д. Протопопов оставался. Государь согласился с ним. Жильяр, находившийся в соседней комнате, был невольным свидетелем их беседы. Он показывает: «...Но скоро прибыла Ее Величество. С ней была и Вырубова. Она (Вырубова) мне говорила в присутствии Гиббса (я передаю ее слова, как мне кажется точно: ее детским языком): «Вот уже полтора суток Государь в ужасно нехорошем настроении. Мы все бьемся, чтобы устранить то, что было сделано в Киеве. Он слишком добр и слаб. Его там окрутили». Я знаю, что Императрица Александра Федоровна боролась тогда с разрешением указанных выше вопросов, как, очевидно, они были разрешены в Киеве. Я положительно знаю, что Ее Величество в те дни очень волновалась. Она написала Государю письмо, причем в написании (составлении текста) этого письма принимала участие и Вырубова. Было приказано офицеру передать это письмо Его Величеству немедленно, хотя бы и во время доклада кого-либо Государю. Я положительно знаю, что в это время Ее Величеством была получена от Распутина телеграмма, в которой были выражения: «Не бояться. Наша сила еще велика».

В декабре месяце 1916 года Великая Княгиня Елизавета Федоровна пыталась предотвратить надвигающуюся катастрофу. Она приехала в Царское, думая убедить Императрицу устранить Распутина. После первой же беседы ей, по приказанию Государыни, был подан поезд, и она была вынуждена уехать помимо своей воли.

Занотти говорит по этому поводу: «Она имела тогда с Государыней серьезный разговор про Распутина. Императрица очень любила сестру. Но Ели-

завета Федоровна была бессильна бороться с его влиянием».

Распутину, конечно, не приходилось вести борьбу за свою волю с Государыней. Но я не могу себе представить, чтобы Государь, в его необычайно трудном положении, никогда бы не оказывал противодействия воле Распутина, проводившейся через Государыню.

Как в таких случаях поступал Распутин?

Юсупов наблюдал такие случаи. Он говорит о «злобе» Распутина к Государю, о «поношении» им Государя. Я не буду повторять этих распутинских слов, но я понимаю Юсупова, когда он говорит о Распутине, как о «чудовище».

Что лежало в основе отношений Распутина к царской семье?

Я говорю не про оценку его действий Императрицей, а о нем самом, как он относился к семье и на этой почве к самому себе.

Его звали молиться о здоровье Наследника, что он, вероятно, делал. Лжемонархисты распутинского толка пытаются ныне утверждать, что Распутин «благотворно» влиял на здоровье Наследника. Неправда. Его болезнь никогда не проходила, не прошла, и он умер, будучи болен.

Можно, конечно, бессознательно для самого себя обмануть больную душу матери один-два-три раза. Но нельзя этого делать на протяжении ряда лет без лжи перед ней и перед самим собой.

Лгать помогала Распутину сама болезнь Наследника. Она всегда была одна: он начинал страдать от травмы или ушиба, появлялась опухоль, твердела, появлялись параличи, мальчик испытывал сильные муки. Около него был врач Деревенько. Наука делала свое дело, наступал кризис, опухоль рассасывалась, мальчику делалось легче.

Состояние матери понятно. Веря в Распутина, она в силу целого комплекса психопатологических причин, весь результат благополучного исхода относила не к врачу, а к Распутину.

Но каким же образом на одной вере матери держался Распутин столько лет?

Ложь Распутина требовала помощников. При безусловной честности врача Деревенько, в чем я глубоко убежден, ему необходимо было, чтобы во дворце был или его соучастник, или полное орудие его воли, неспособное смотреть на вещи глазами нормального человека, от которого он в любую минуту мог бы получить нужные ему сведения, а около него, невежественного человека, был бы врач.

Так это и было.

Во дворце был его раб — Анна Александровна Вырубова.

Три фактора определяли ее положение во дворце: истерия Императрицы, истерия ее самой и Распутин.

Болезнь Императрицы влекла за собой отход людей, пустоту. Ее заполняли или святые люди, как графиня Гендрикова, или люди, не имеющие своего «я». Вырубова принадлежала к последней категории. Это основной фон ее отношений с Императрицей. И я убежден, что Вырубова никогда не была другом ее души, так как Императрица не могла не понимать духовной нищеты Вырубовой.

Жильяр говорит: «Ее Величество любила окружать себя людьми, которые бы всецело отдавали ей самих себя, которые бы всецело отдавались ей, почти отказываясь от своего «я». Она считала таких людей преданными ей. На этой почве и существовала Вырубова. Вырубова была неумная, очень ограниченная, добродушная, большая болтушка, сентиментальная и мистичная. Она была очень неразвитая и имела совершенно детские суждения. Она не имела никаких идей. Для нее существовали только одни личности. Она была совершенно неспособна понимать сущность вещей, идеи. Просто были для нее плохие и хорошие люди. Первые были враги, вторые — друзья. Она была до глупости доверчива, и к ней проникнуть в душу ничего не стоило. Она любила общество людей, которые были ниже ее, и среди таких людей она чувствовала себя хорошо. В некоторых отношениях она мне представлялась странной. Мне она казалась (я наблюдал такие явления у нее) женщиной, у которой почему-то недостаточно развито чувство женской стыдливости... С Распутиным она была очень близка».

Занотти показывает: «В конце кон-

цов, около Государыни было два человека, с которыми никто бороться не мог: Распутин и Вырубова. Больше для нее из посторонних никого не существовало».

Приблизительно в 1913 году имел место случай, особенно ярко выясняющий Распутина и Вырубову.

Забыв свое положение, Вырубова однажды дала излишний простор своей истеричности, избрав предметом своего внимания Государя. Императрица сразу заметила это и запретила Вырубовой появляться в семье. Положение ее пошатнулось. Тщетно она молила прощение себе, обращаясь с письмами к Императрице. Не помогло и заступничество за нее духовника Государыни. Так продолжалось довольно долго. Но прибыл Распутин и одной беседой с Государыней восстановил положение Вырубовой.

В нашей следственной технике никогда не следует упускать из вида деталей. Они часто помогают понять истину.

Был болен ребенок и его мать. В такой обстановке Распутину нужна была во дворце скорее всего женщина. Так это и было.

При развратности своей натуры и истеричности Вырубовой Распутину ничего не стоило бы сделать ее жертвой своих вожделений. Он не делал этого, так как понимал, что он может утратить если не свое положение, то Вырубову, нужную ему.

Когда же это было полезно, он прибегал и к подобным мерам, нимало не задумываясь, чем должно было быть для него жилище Царя.

У Наследника, когда он был маленьким ребенком, была няня Мария Ивановна Вишнякова, простая женщина. Занотти рассказывает: «Я относилась к нему (Распутину) отрицательно. Я считала его и теперь считаю тем именно злом, которое погубило царскую семью и Россию. Он был человек вовсе не святой, а развратный человек. Он соблазнил у нас няньку Марию Ивановну Вишнякову. Это была няня Алексея Николаевича. Распутин овладел ею, вступив с нею в связь. Мария Ивановна страшно любила Алексея Николаевича. Она потом раскаялась и искренно рассказала о своем поступке Императрице. Государыня не поверила ей. Она увидела в этом желание чье-то очернить Распутина и уволила Вишнякову. А то была самая настоящая правда, о которой она в раскаянии не таилась, и многие это знали от нее же самой. Вишнякова сама мне рассказывала, что Распутин овладел ею в ее комнате, у нас во дворце. Она называла его «собакой» и говорила о нем с чувством отвращения. Вишнякова тогда именно хотела открыть глаза на Распутина: какой это человек. Она хотела рассказать это и Государю, но она не была допущена к нему».

Большая близость была между Распутиным и врачом Бадмаевым. Князь Юсупов, выведывая Распутина, вел с ним большие разговоры на эти темы. Много порождают они размышлений о таинственном докторе, незаметно исчезнувшем с горизонта тотчас же после революции. Юсупов утверждает, что в минуты откровенности Распутин проговаривался ему о чудесных бадмаевских «травках», которыми можно было вызывать атрофию психической жизни, усиливать и останавливать кровотечения.

Жильяр говорит: «Я убежден, что, зная через Вырубову течение болезни Наследника, он, по уговору с Бадмаевым, появлялся около постели Алексея Николаевича как раз перед самым наступлением кризиса, и Алексею Николаевичу становилось легче. Ее Величество, не зная ничего, была, конечно, не один раз поражена этим, и она поверила в святость Распутина. Вот где лежал источник его влияния».

Занотти показывает: «Я не могу Вам сказать, каково было влияние на здоровье Алексея Николаевича в первое посещение Распутина, но в конце концов, у меня сложилось мнение, что Распутин появлялся у нас по поводу болезни Алексея Николаевича именно тогда, когда острый кризис его страданий уже проходил. Я, повторяю, в конце концов, это заметила».

Потом Распутин пошел дальше лжи. Став необходимостью для больной Императрицы, он уже грозил ей, настойчиво твердя: Наследник жив, пока я жив. По мере дальнейшего разрушения ее психики, он стал грозить более широ-

ко: моя смерть будет Вашей смертью.

Кем он был в своей личной жизни?

Крестьянин по происхождению, он не был мужиком-хозяином. За него работали другие: его отец и его сын. Он всегда носил в себе черты мужика-лодыря, и легкая жизнь, которая ему потом выпала на долю, легко затянула его.

Его дочь говорит о нем: «Пил много... Больше любил мадеру и красное вино. Пил он дома, но больше в ресторанах и у знакомых».

Женщина, жившая в его квартире и наблюдавшая его, показывает: «Пил он очень много, и часто за это время я видела его пьяным. Окружен он был группой его поклонниц, с которыми он находился в связи. Проделывал он свое дело с ними совершенно открыто, нимало не стесняясь. Он щупал их и вообще всех женщин, которые допускались до его столовой или кабинета и, когда он или они этого хотели, вел их при всех тут же к себе в кабинет и делал свое дело. Пьяный он чаще сам приставал к ним; когда он был трезв, чаще инициатива исходила от них... Часто я слышала его рассуждения, представляющие смесь религиозной темы и разврата. Он сидел и поучал своих поклонниц: «Ты думаешь, я тебя оскверняю? Я тебя не оскверняю, а очищаю». Вот это и была его идея. Он упоминал еще слово «благодать», то есть высказывал ту идею, что сношением с ним женщина получает благодать».

По мере укрепления его положения около Государыни росло и его честолюбие. Похвиснев показал, что незадолго до революции Распутин телеграфировал одному из вновь назначенных губернаторов: «Доспел тебя... губернатором».

Руднев считает Распутина бедняком, бессребреником. Не знаю, на чем он основывается. Мною установлено, что только в Тюменском Отделении Государственного Банка после его смерти оказалось 150 000 рублей.

Свидетели говорят о нем как о неприятном, неотесанном невежде. Не обладал умом, но был хитрый.

Изучив Распутина, Руднев пришел к выводу, что он «несомненно обладал в сильной степени какой-то непонятной внутренней силой в смысле воздействия на чужую психику, представлявшей роль гипноза».

Князь Юсупов показывает: «Он был совершенно некультурный мужик, неумный, но очень вкрадчивый. Благодаря своему невежеству и разнице между той средой, к которой он принадлежал, и той, в которую он попал, он иногда призводил своей личностью впечатление наивности и чего-то детского. Святости я в нем никогда не чувствовал. Я убежден, что религиозность его была личиной, которой он прикрывался и под которой я чувствовал обман и грязь. При всем том я видел в нем колоссальную силу духа зла, и этой силой он сознательно порабощал людей. Последние минуты его жизни меня окончательно убедили, что я имел в его лице дело с необыкновенным человеком по сумме той нечеловеческой силы, которая в нем заключалась и определенно проявилась в его необычайной живучести».

Сходясь с Распутиным, князь Юсупов согласился, чтобы Распутин лечил его. Распутин прибегал при этом к обычным приемам гипноза, в чем и состояло лечение.

Все свидетельские показания о Распутине сводятся, в конце концов, к двум точкам зрения: по одной — он громадная сила, по другой — он ничтожество: «побитый конокрад».

Я не считаю Распутина силой. Он не был ею, потому что он не обладал волей. Он, скорее, был безволен.

Но в нем, несомненно, была одна черта, выделявшая его из общего уровня. Он обладал редкой нервной приспособляемостью к жизни. Это позволяло ему очень быстро схватывать обстановку и человека. Подобное свойство всегда сильно действует на нервных людей, особенно на женщин. Они всегда склонны видеть в таких людях прорицателей, пророков. Мужичий облик как контраст служил в данном случае в пользу Распутина. Его громадная наглость сильно укрепляла общее впечатление.

В конце концов, как бы ни относиться к Распутину, нельзя отрицать в нем одной несомненной черты: его колоссального невежества.

Учитывая в то же время его бешеную активность, я решительно отказы-

ваюсь видеть в нем самодовлеющую личность. Он не был ею, и в своей политической роли он подчинялся, благодаря своему невежеству, чьим-то иным директивам.

Кто же стоял за ним?

Керенский показывает: «Пребывая у власти, я имел возможность читать многие документы Департамента Полиции в связи с личностью Распутина. Читая эти документы, поражаешься их внутренним духом, их чисто шпионским стилем. Что чувствовалось, например, в словах Распутина, когда он настойчиво до самого конца своего в неоднократных документах писал Царю про Протопопова: «Калинина не гони, он наш, его поддержи». Я говорю в данном случае только про самого Распутина и хочу сказать, что его именно роль для меня не подлежит сомнению. Кого видел в нем Пуришкевич, убивавший его? Он нисколько не скрывал, что в его лице он убивал прежде всего изменника. Вспомните про Хвостова. Я лично не питаю положительных чувств к личности Хвостова. Но он открыто боролся с Распутиным, как центральной фигурой немецкой агентуры. Как ожесточенно с ним боролся Распутин при помощи окружающих его лиц, того же Манусевича-Мануйлова! Так вот, я хочу сказать, что в результате знакомства моего с указанными документами у меня сложилось полное убеждение о личности Распутина, как немецкого агента, и, будь я присяжным заседателем, я бы обвинил его с полным убеждением».

Член Государственной думы Маклаков[1] показывает: «Я хорошо припоминаю, как Хвостов, бывший министром внутренних дел, в последние дни своего министерства рассказывал мне, что он учредил наблюдение за Распутиным и что для него было совершенно ясно, что Распутин был окружен лицами, которых подозревали, как немецких агентов. Многие из тех лиц, на которых падало подозрение военной контрразведки, как на немецких агентов, совершенно самостоятельно специальной разведкой за Распутиным оказывались в большой к нему близости. Это совпадение было настолько разительным, что Хвостов счел своим долгом, по его словам, доложить об этом Государю, и это было причиной его немилости, его опалы и отставки. Считаю, однако, своим долгом удостоверить, что тот же Хвостов, который в это время считал себя очень обиженным Императорской четой и очень дурно вообще отзывался о личности Государя, ни на минуту не допускал мысли, что Императорская чета могла бы иметь соприкосновение с германской интригой. Напротив, он рядом соображений и фактов это энергично отрицал».

Князь Юсупов показывает: «Я неоднократно видел у него в кабинете каких-то неизвестных мне людей еврейского типа. Чаще всего они появлялись у него тогда, когда он или уезжал в Царское, или уже был там. Они тотчас его окружали после возвращения, подпаивали и о чем-то обстоятельно расспрашивали. Наблюдая их действия, я видел, что результаты своих расспросов они записывали в свои записные книжки. Понял я, откуда немцы черпали свои сведения о наших тайнах. Я понял, что Распутин — немецкий шпион».

Юсупов выведывал у Распутина, как он относится к сепаратному миру с Германией: «Я от него слышал: «Не надо этой войны, надо войну прекратить, довольно пролито крови». Он это говорил настойчиво, определенно. Я его раз спросил: «А как на это смотрят в Царском?» Он мне ответил: «Да что там смотрят? Конечно, дурные люди им другое говорят. Да все равно по-моему будет. И Государь, и все устали... Куда ему справиться с таким делом! Вот Царица у нас мудрая. Ей нужно все в руки дать. Чтобы она всем управляла. Тогда будет все хорошо. Это — народная воля».

Готовый дать Распутину обвинительный вердикт присяжного заседателя, Керенский все же оговаривается: «Что Распутин лично был немецкий агент или, правильнее сказать, что он был тем лицом, около которого работали не только германофилы, но и немецкие агенты, это для меня не подлежит сомнению».

Даже Юсупов показывает: «Мне все же кажется, что, являясь агентом нем-

[1] Свидетель В. А. Маклаков был допрошен мною 10 сентября 1920 года в Париже.

цев, он в своей политической деятельности не был вполне сознательным для самого себя и до известной степени поступал бессознательно в своей губительной для России деятельности».

Наблюдавшее за Распутиным по приказу высшей военной власти фронта лицо показывает: «Мне лично пришлось от него слышать в середине 1916 года: «Кабы тогда меня эта стерва не пырнула (Хиония Гусева), не было бы никакой войны, не допустил бы». Он откровенно говорил, что войну надо кончать: «Довольно уже проливать кровь-то. Теперь ужо немец не опасен, он ужо ослаб». Его идея была скорее мириться с ними... Для меня в результате моей работы и моего личного знакомства с Распутиным было тогда же ясно, что его квартира — это и есть то место, где немцы через свою агентуру получали нужные им сведения. Но я должен сказать по совести, что не имею оснований считать его немецким агентом. Он был безусловный германофил... Ни одной минуты не сомневаюсь, что говорил Распутин не свои мысли, то есть он, по всей вероятности, сочувствовал им, но они ему были напеты, а он искренно повторял их».

Я не верю в «германофильство» Распутина. Эта идея сама по себе может быть почтенна, так как культура, хотя бы и чужеземная, есть благо всего человечества. Но она может претендовать на уважение только тогда, когда ее защищает русский патриот, серьезно, научно обоснованно знающий прошлое и настоящее своего отечества.

Эта идея была не по плечу Распутину, Если она была продуктом его собственного мышления, это был выкрик большевика-дезертира.

Конечно, это была не его мысль: «Кровь... Довольно проливать кровь...» Здесь глубоко продуманная цель: воздействовать на психологию больной женщины. Эту идею внушали Распутину, чтобы он, как слепое орудие, пользуясь своим необычным положением, внушил ее Императрице.

Кто окружал Распутина? Я разумею при этом, не круг его истеричных поклонниц, а тех, кто руководил им самим.

Самым близким человеком к русскому мужику Распутину, почти неграмотному, быть может, идолопоклоннически, но все же православному, был Иван Федорович Манасевич-Мануйлов, лютеранин, еврейского происхождения.

Человек весьма умный, энергичный, с громадным кругом знакомств, он был по натуре крупный авантюрист, обладавший большими связями не только в России. В душе это был стяжатель широкого размаха. Когда он был арестован, судебная власть не нашла его денег. Они составляли крупную сумму.

Перед первой смутой он долго проживал в Париже, числясь на службе по Департаменту Духовных Дел. Его настоящей сферой был, однако, Департамент Полиции.

Потом он состоял при графе Витте в качестве чиновника особых поручений и ушел со службы вместе с уходом Витте.

Как только министр иностранных дел Сазонов был заменен Штюрмером, Мануйлов сейчас же был назначен при нем чиновником особых поручений.

Это он был волей Распутина и поборол министра внутренних дел Хвостова, когда он пытался разоблачить шпионство Распутина.

Это он через Распутина добился ухода министра юстиции Макарова, последнего защитника нашего национального правосудия, неподкупного слуги закона, и замены его распутинцем Добровольским.

Скорбь охватывает душу, когда слушаешь свидетеля-очевидца дружеской беседы Распутина и авантюриста Мануйлова, решавших судьбу российских министров.

Его последней креатурой был роковой человек, министр внутренних дел Протопопов. Я не буду говорить о нем. Приведу лишь показание свидетеля Маклакова: «Первое движение лиц, знавших Протопопова, когда они узнали, что он будет министром, был неудержимый смех, а не негодование, так как всем показалось смешным, что Александр Дмитриевич Протопопов может оказаться когда-нибудь на таком посту. Этому не противоречит и то, что он был избран в товарищи председателя Думы. Избрание его состоялось при несколько исключительных условиях...

Все то, что потом произошло с Протопоповым, можно, в известной степени, объяснить и несомненным его болезненным состоянием, признаки коего замечали давно. Так, когда он был избран товарищем председателя, он неожиданно для всех из своего думского кабинета устроил спальню и приходил туда ночевать, хотя имел квартиру; на мой вопрос, зачем он это делает, он мне ответил, что он очень расстроен нервами и не может спать дома. Припоминаю другую странность, которая показалась близкой уж к ненормальности. Когда он был назначен министром внутренних дел, то в первый раз явился в Думу на заседание бюджетной комиссии. Явился туда в жандармском мундире и, прежде чем войти в комнату, где заседала комиссия, просил думских приставов, его встретивших, показать ему здание Думы; обходил вместе с ними все комнаты, не исключая и зала заседаний, который он знал превосходно. Узнав про это, мы все, члены Думы, смеялись и говорили, что Протопопов сошел с ума».

Дело Чрезвычайной Комиссии о Протопопове, по освидетельствовании его врачами, и было направлено, как о душевнобольном.

Другим близким к Распутину человеком был банкир Дмитрий Рубинштейн, еврей.

Он был другом Распутина, и последний с нежностью именовал его «другом Митей».

В 1916 году против Рубинштейна было возбуждено уголовное преследование за измену его России в пользу Германии, выразившуюся в том, что он: а) как директор страхового общества «Якорь», в коем правительство страховало наши военные заграничные заказы, сообщал немцам секретные сведения о движениях наших военных транспортов, благодаря чему немцы топили их; б) как директор банков Русско-Французского и Юнкер-Банка, в широких размерах тормозил производство боевого снабжения.

Тобольский мужик Распутин, не игравший, по мнению некоторых людей, политической роли, имел... личного секретаря.

Им был петроградский торговец бриллиантами Арон Самуилович Симанович, еврей.

Богатый человек, имевший свое торговое дело и свою квартиру, Симанович почему-то все время пребывал в квартире Распутина. Он там был свой человек, и Матрена, дочь Распутина, ласково называет его в своем дневнике «Симочкой».

Открывался бесконечно широкий горизонт эксплуатировать пьяного мужика-невежду, хотя и его именем, но часто и без его ведома.

Изучая Распутина, еще Руднев подметил, что некоторые лица, имевшие связи с Распутиным или интересовавшие его, носили прозвища. Например, Протопопова Распутин называл всегда «Калининым», Штюрмера — «стариком», епископа Варнаву — «мотыльком».

Руднев прошел мимо этого явления и пытается объяснить его простым остроумием, игривостью ума Распутина: любил давать меткие прозвища.

Калинин — не прозвище, а условная замена одной фамилии другой.

Мотылька Руднев отыскал в переписке Императрицы с Вырубовой. Зная характер Императрицы и уважение, с которым она всегда относилась к сану простого священнослужителя, не могу себе представить, чтобы «мотылек» был игривостью, заимствованной хотя бы и у Распутина.

Думаю, что эта терминология указывает на конспиративную организацию.

В конце ноября 1916 года Центр Государственного Совета поручил одному из своих членов сообщить Протопопову, что его нахождение на посту министра абсолютно недопустимо, что он, ради блага Родины, должен уйти в отставку.

Свидание этого лица с Протопоповым состоялось в квартире первого 2 декабря (старого стиля) в 12 часов ночи.

Это лицо показывает[1]: «Я передал ему то, что мне было поручено. Проявив много черт, свойственных болезни истерии, Протопопов уверял меня, что его никто не понимает; что он — это несокрушимая мощь и воля; что он преисполнен такими планами, которые принесут благо России. В конце концов, он дал мне слово, что завтра (3 декабря)

[1] Этот свидетель был допрошен мною 16 апреля 1921 года в Париже.

он отправится в Царское и подаст прошение об отставке. При этом он просил меня как-нибудь поспособствовать, чтобы ему была дана возможность остаться при Государе, потому что он так полюбил Государя и Государыню, что абсолютно не может жить без них. В то же время он высказал желание, чтобы ему как-нибудь был устроен чин «генерал-майора». В самом конце нашей беседы я сказал ему, что возможно, конечно, что отставка его не будет принята Государем; что это, вероятно, изменит и позицию Государственного Совета, если к тому же он окажется таким деятелем, каким он сам себя рисует, но только при одном непременном условии: если он, Протопопов, не ставленник Распутина. В самых энергичных выражениях Протопопов стал меня уверять, что он не имеет связей с Распутиным, что он встречал его раза два: один раз в лечебнице Бадмаева, где Распутин своими личными свойствами произвел на него огромное впечатление... На этом расстались около половины третьего».

На следующее утро к этому члену Государственного Совета явилось одно лицо и сообщило ему, что минувшей ночью Протопопов тут же после беседы с ним отправился в квартиру Распутина, где его ждали, и оттуда той же ночью была послана в Царское телеграмма такого содержания: «Не соглашайтесь на увольнение директора-распорядителя. После этой уступки потребуют увольнения всего правления. Тогда погибнет акционерное общество и его главный акционер». Подпись на телеграмме была «Зеленый».

Начальник Главного Управления Почт и Телеграфов Похвиснев показал: «Я помню, что была также телеграмма, отправленная Государыне и имевшая подпись «Зеленый». В ней говорилось, что если будет уволен кто-то из лиц, входивших в состав «акционерного общества», то потребуют увольнения и всего правления, что грозит гибелью и главе общества. Я не знаю, от кого исходила эта телеграмма. Она прошла, как мне помнится, в конце 1916 года».

Характеризуя общий дух телеграмм Распутина Государыне, Похвиснев говорит: «...Они всегда заключали в себе элемент религиозный и своей туманностью, каким-то сумбурным хаосом всегда порождали при чтении их тягостное чувство чего-то психопатологического. В то же время они были вообще затемнены условными выражениями, понятными только адресатам».

Протопопов лгал члену Государственного Совета, отрицая свою связь с Распутиным. Он сохранил ее до самой смерти Распутина и в ночь убийства его, за несколько часов до увоза Распутина князем Юсуповым, был у него в квартире и предупреждал его, чтобы он никуда не ездил в эту ночь, так как его хотят убить.

Протопопов понимал, какое значение имеют телеграммы Распутина, и в январе месяце 1917 года прислал к Похвисневу одного жандармского генерала, требуя нарушения закона: выдачи ему всех подлинных телеграмм Распутина. Похвиснев не подчинился, но скоро он понял, что служить больше нельзя, и ушел. Тогда Протопопов изъял их.

Кто же эти таинственные «зеленые»?

Юсупов попробовал выведать у Распутина, кто эти незнакомцы с их записными книжками, которых он видел в его кабинете. «Хитро улыбаясь, — показывает Юсупов, — Распутин ответил, — это наши друзья. Их много. А главные — в Швеции. Их зовут зелеными».

Стокгольм был главной базой, где находилась немецкая организация в борьбе с Россией. Не сомневаюсь, что отсюда шли директивы и тем людям, которые окружали Распутина.

Я изложил факты, как они установлены следствием. Будущий историк, не стесняясь моими необязательными для него выводами, сделает в свое время свои, быть может, более правильные.

Я же, оставаясь в пределах моего исследования, считаю доказанными следующие положения.

В силу указанных выше причин, лежащих отчасти в натуре Императрицы, отчасти в соотношении характеров ее и Государя, Распутин воспринимался ими как олицетворение идей: религиозной, национальной и принципа самодержавия.

Попытку увоза из Тобольска Царь мог, конечно, оценить только так, как сделал это он, ибо в душе своей он

всегда был одним и тем же: Русским Царем.

Свое отношение к Распутину они неминуемо переносили на всех тех, кто носил на себе печать его признания.

Все эти люди имели для них не менее роковое значение, чем и сам Распутин.

Мы скоро увидим, что преемник Распутина, порожденный той же самой средой, существовал и в Тобольске и обусловил их гибель.

Политическая обстановка в Тобольске

Тобольская обстановка позволяла ли Царю видеть в Яковлеве посланца немцев, скрывавшегося под маской большевика?

Эта обстановка была последствием переворота 25 октября 1917 года.

Первая попытка Ленина свергнуть власть Временного Правительства в июле месяце 1917 года кончилась неудачей. Он бежал. Над ним было назначено судебное следствие.

Его производил судебный следователь по особо важным делам Александров. Акты следствия после 25 октября были захвачены большевиками. Но В. Л. Бурцев успел получить в свое время сводку материалов этого следствия»[1].

Я проверял достоверность ее допросами Переверзева и Керенского. Первому принадлежала в этом деле главная роль, так как он работал над изменой Ленина еще до его выступления, занимая пост прокурора Петроградской Судебной Палаты. Позднее, будучи министром юстиции, он возбудил формальное следствие.

Переверзев показал: «Я слышу содержание документов, которые Вы мне сейчас огласили, и могу по поводу их сказать следующее. Эти документы представляют собой сводку тех документальных данных, которые имелись тогда в моем распоряжении, как министра юстиции. Еще будучи прокурором палаты, я вел расследование немецкого шпионажа вообще и, в частности, деятельности Ленина. Работа эта производилась подведомственными мне чинами под моим личным наблюдением. Добытыми данными роль Ленина и целого ряда других лиц, как агентов Германии, удостоверялась воочию... Первая попытка большевиков была подавлена. Возникло предварительное следствие. Его вел судебный следователь по особо важным делам Александров по моему предложению. Я тут же был вынужден выйти в отставку, так как мое открытое выступление против Ленина повлекло за собой бурю в петроградском Совете рабочих депутатов, оказавших давление на Правительство.

Резолютивная часть этих документов так определяла вину вражеских агентов: «На основании изложенных данных Владимир Ульянов (Ленин), Овсей Герш Аронов Апфельбаум (Зиновьев), Александра Михайловна Колонтай, Мечислав Юльевич Козловский, Евгения Маврикиевна Суменсон, Гельфанд (Парвус), Яков Фюрстенберг (Куба Ганецкий), мичман Ильин (Раскольников), прапорщики Семашко и Рошаль обвиняются в том, что в 1917 году, являясь русскими гражданами, по предварительному между собой уговору, в целях способствования находящимся в войне с Россией государствам во враждебных против них действиях, вошли с агентами названных государств в соглашение содействовать дезорганизации русской армии и тыла для ослабления боевой способности армии, для чего на полученные от этих государств денежные средства организовали пропаганду среди населения и войск с призывом к немедленному отказу от военных против неприятеля действий, а также в тех же целях в период времени с 3 по 5 июля организовали в Петрограде вооруженное восстание против существовавшей в государстве верховной власти, сопровождающее-

[1] Она была представлена к следствию Бурцевым 11 августа 1920 года в Париже.

ся целым рядом убийств, насилий и попытками к аресту некоторых членов Правительства, последствием каковых действий явился отказ некоторых воинских частей от исполнения приказаний командного состава и самовольное оставление позиций, чем способствовали успеху неприятельских армий».

Как агент-пропагандист, Ленин давно был привлечен к сотрудничеству немецко-австрийской властью в борьбе с Россией.

Уже через три месяца после войны возникла его связь с австрийским штабом, и он, будучи задержан, как русский подданный, получил не только свободу, но и покровительство. В том же году он выехал в Швейцарию. Этот период его деятельности установлен следствием Александрова.

Над разоблачением его дальнейшей роли работал Бурцев[1]. Его работой установлено, что в 1915 году в Берне, куда Ленин специально приезжал из Цюриха, он вошел в тесную связь с немецким генеральным штабом и, получая от него деньги и инструкции, организовал широкую антинациональную борьбу с Россией. Подобрав штат сотрудников, он усиленно распространял пораженческую литературу, вербовал и отправлял агентов-пропагандистов для работы в рядах Русской Армии и в тылу.

После отречения Царя неслыханное наше национальное разложение открыло широкие двери Ленину и его сотрудникам в Россию.

Я имею списки этих сотрудников. В числе их был один, кому принадлежала немалая роль в убийстве царской семьи.

Ныне измена Ленина открыто признана таким авторитетом, как немецкий генерал Людендорф[2]. В его воспоминаниях значится: «Наше правительство, посылая в Россию Ленина, приняло на себя тем самым большую ответственность. Это путешествие Ленина оправдывалось с военной точки зрения; нужно было, чтобы Россия была повержена...»

Керенский показал: «Как лицо, которому принадлежала в те дни власть в самом широком ее масштабе и применении, я скажу, что роль немцев не была так проста, как она казалась, может быть, даже судебному следователю Александрову, производившему предварительное следствие о событиях в июле месяце 1917 года. Они работали одновременно и на фронте, и в тылу, координируя свои действия. Обратите внимание: на фронте наступление (Тарнополь), в тылу — восстание. Я сам тогда был на фронте, был в этом наступлении. Вот что тогда было обнаружено. В Вильне немецкий штаб издавал тогда для наших солдат большевистские газеты на русском языке и распространял их по фронту. Во время наступления, приблизительно 2—4 июля, в газете «Товарищ», издаваемой в Вильне немцами и вышедшей приблизительно в конце июня, сообщались, как уже случившиеся, такие факты о выступлении большевиков в Петрограде (первое выступление Ленина), которые случились позднее. Так немцы в согласии с большевиками и через них воевали с Россией. Точно так же не так прост и факт переворота 25 октября. Германия сама вынуждена была в ходе войны бороться с Антантой приемами большевизма. Она избрала для этой цели Россию, как соперника, наиболее слабого в этом отношении. В ее союзе было в 1917 году не совсем благополучно. Австрия готова была выйти из союза с Германией и искать сепаратного мира. Германия поэтому и спешила совершить у нас переворот осенью 1917 года, стараясь предупредить выход из войны Австрии. Я констатирую Вам следующий факт. 24 октября 1917 года мы, Временное Правительство, получили предложение Австрии о сепаратном мире. 25 октября произошел большевистский переворот. Так немцы форсировали ход событий. Конечно, совершая этот переворот, они через большевиков делались господами положения».

Они делались господами положения в России. Эта мысль исторически верна и она подтверждается общим ходом событий Великой Войны...

Сибирская обстановка, в частности, определялась после переворота 25 октября тремя факторами.

---

[1] Свидетель В. Л. Бурцев был допрошен мною 11 августа 1920 года в Париже.

[2] Людендорф. Воспоминания о войне 1914—1918 гг.

Налицо было решение союзников восстановить русский фронт, разрушенный немцами через большевиков.

Переговоры об этом происходили весной 1918 года. К концу этого года в Сибирь были двинуты союзные войска под общим командованием французского генерала Жанена. По плану союзников ему должны были подчиняться и русские силы.

Но сибирская обстановка сложилась иначе. Там до прибытия союзных сил вспыхнуло национальное движение, стряхнувшее большевиков собственными силами. Оно началось в мае 1918 года.

Это движение было тесно связано с третьим фактором, отчасти обусловливаясь им. Через Сибирь шли воевать с немцами на союзном фронте чехи. Их продвижение в Европейской России происходило в марте — апреле 1918 года.

Что было в это время в Москве?

Неслыханное за все время существования Императорской России. Там сидел граф Мирбах, уполномоченный врага, с которым русский народ не заключал мира, ибо он был заключен Германией с ее собственными агентами и слугами интернационала, а не исходя из национальных интересов русского народа.

Весной 1918 года Русский Царь был на русской территории, которую враг оккупировал собственными силами русской народной темноты, поверившей новым вождям. Царь был в состоянии «вражеского пленения». Этот факт исторически верен.

Преемник Распутина Соловьев

Теперь вернемся к событиям прошлого.

Когда в Тобольск прибыл из Омска во главе своего отряда Демьянов, столь враждебный Екатеринбургу и столь дружественный комиссару Яковлеву?

Это произошло 26 марта 1918 года.

Я подчеркиваю это и обращаю внимание, что эта дата точно установлена следствием.

Жильяр заносит в свой дневник такие думы[1]: «Отряд красных в сто с лишним человек прибыл из Омска; это первые солдаты большевики, которые ставят гарнизон Тобольска. Наша последняя надежда на спасение бегством рухнула. Однако Ее Величество мне сказала, что она имеет основание думать, что среди этих людей имеется много офицеров под видом простых солдат. Она меня также уверяет, не называя источника, из которого она осведомлена об этом, что триста таких офицеров сконцентрировано в Тюмени».

Я проверил запись Жильяра. Он показал мне на следствии: «Я положительно могу удостоверить следующее. Государыня мне несколько раз говорила, что в Тюмени (именно в Тюмени) собирается отряд хороших людей для их защиты. Однажды Ее Величество определенно мне сказала, что там (в Тюмени) собралось триста хороших офицеров. Это было незадолго до прибытия в Тобольск омского отряда красноармейцев. Они все были убеждены, что в составе этого отряда имеются эти хорошие офицеры из Тюмени для их защиты».

В этот самый день происходил спор Императрицы с Битнер. На этих самых красноармейцев Демьянова показывала в окно Императрица. По их адресу кричала она, видя их в первый раз: «Хорошие русские люди».

Нет сомнения, Императрица еще до 26 марта возлагала надежды на Тюмень. Она Тюмень считала главной базой, где «хорошие русские люди» готовят им спасение. Она связывала Тюмень с Омском и в отряде Демьянова видела в красноармейской одежде тюменских офицеров. Своей верой Императрица заразила и других членов

[1] Жильяр П. Трагическая судьба Императора Николая II и его семьи. С. 216.

семьи, но в то же время она не хотела открыть источника своей веры даже такому человеку, как Жильяр.

На чем же была основана эта вера?

На обмане, ибо следствием абсолютно доказано, что не было ни в Тюмени, ни где-либо в другом месте Тобольской губернии никаких офицерских групп, готовых освободить семью.

Кто же обманывал Императрицу?

В декабре месяце 1919 года во Владивостоке был арестован военной властью некто Борис Николаевич Соловьев. Он возбудил подозрение своим поведением и близостью к социалистическим элементам, готовившим свержение власти Адмирала Колчака. Соловьев подлежал суду, как большевистский агент. Но при расследовании выяснилась его подозрительная роль в отношении царской семьи, когда она была в Тобольске. Он был отправлен поэтому ко мне.

Вот что удалось мне установить.

Отец Соловьева, Николай Васильевич, был маленьким провинциальным чиновником: секретарем Симбирской Духовной Консистории. Почему-то он пошел в гору и получил назначение в Киев. Затем он был членом Училищного Совета и казначеем Святейшего Синода.

Не знаю истории его карьеры, но Соловьев-сын[1] показал у меня при допросе: «Отец мой был в большой дружбе с Григорием Ефимовичем (Распутиным). Они с ним были старые знакомые и приятели».

Учился Борис Соловьев некоторое время в Киевской гимназии, но не окончил ее, будто бы по слабости здоровья. После этого он, по его словам, стал готовиться к поступлению в духовную семинарию, так как де с детства был проникнут «религиозными» стремлениями.

В 1914 году он солдат 137-го Нежинского пехотного полка. В 1915 году он в тылу: во 2-й Ораниенбаумской школе прапорщиков, каковую и кончил, а затем, по его словам, кончил еще офицерскую стрелковую школу, не возвращаясь больше на фронт.

[1] Б. Н. Соловьев был допрошен мною в качестве заподозренного свидетеля (722 ст. уст. угол. суд.) 26 декабря 1919 года — 3 января 1920 года в г. Чите.

С 1915 года — он член распутинского кружка.

С первых дней смуты Соловьев — в Государственной думе.

Он объяснил это простой случайностью: 26 или 27 февраля (старого стиля), когда, собственно, еще не было революции, а был просто бунт, я был схвачен, как офицер, на одной из улиц Петрограда солдатами и приведен в Государственную думу».

Так ли это?

За Соловьевым вел наблюдение во Владивостоке поручик Логинов. Он, в этих целях, близко сошелся с Соловьевым и пользовался его доверием.

Логинов[1] показал, что Соловьев был одним из вожаков революционного движения среди солдат и сам привел их к зданию Государственной думы.

Где правда? Его, офицера, «притащили» мятежные солдаты в Думу, или он, мятежный офицер, сам привел солдат к Думе?

Правду говорит Логинов, лжет Соловьев.

Одним из первых полков, взбунтовавшихся в дни смуты, был 2-й пулеметный полк. Соловьев был офицером в составе этого полка в дни смуты. Вместе с полком он и пришел к Думе.

Этим его роль не ограничилась. Он играл более активную роль.

Как известно, Комитет Государственной думы, возглавивший революционное движение, возник 12 марта. В этот же самый день образовалась Военная Комиссия этого Комитета: первый революционный штаб.

С первого же момента Соловьев был назначен «обер-офицером для поручений и адъютантом» председателя Военной Комиссии.

Логинов показывает, что революционная роль Соловьева и этим не ограничилась: он тогда же организовал истребление кадров полиции в Петрограде.

Не пойду так далеко, но нет сомнения: такое назначение мог получить только офицер-мятежник.

Эта Военная Комиссия с первого же момента была большевистской по духу

[1] Свидетель Е. К. Логинов был допрошен военным контролем 24 октября 1919 года в г. Владивостоке.

и враждебной Временному Правительству. В ней главная роль принадлежала генералу Потапову, ныне одному из большевистских генералов[1].

Первый председатель Комиссии Энгельгард говорит о ней на следствии: «Комиссия при стремлении расширить свою компетенцию была учреждением, тормозящим правильное функционирование военного министерства. Она пыталась расширить свою деятельность не только за счет военного министерства, но, например, и за счет командующего войсками петроградского военного округа. Корнилов, например, просил меня однажды съездить в эту комиссию и повлиять там на кого следовало в этом направлении».

О генерале Потапове даже Керенский показывает: «Мы на него смотрели, как на человека, весьма неуравновешенного, вряд ли нормального вполне. Он был склонен к демагогическим приемам».

В 1918 году Потапов оказался на территории Адмирала Колчака, откуда он был выслан в Японию за его большевистскую деятельность.

В дневнике Соловьева[2] за этот год написано: «Интеллигентных людей немного — искать приходится, а единомышленников и не найти. Генерал Потапов уехал в Японию к моему великому сожалению».

Я предложил Соловьеву объяснить мне, почему он, случайно попав в Думу, не ушел оттуда при первой же возможности.

Он отвечал: «Вы спрашиваете меня, почему так вышло. Потому что я, получив воспитание в консервативно-патриархальной среде, никогда не интересовался и никогда не занимался никакой политикой, будучи проникнут с детства религиозными началами, занимавшими меня почти всецело. Все кругом опрокидывалось, рушилась Святая Святых. Хотелось не молчать, протестовать, но что же можно было сделать? Не «тащили» больше никуда из Думы, куда меня притащили солдаты, вот и сидел».

Я просил его объяснить мне, как можно совместить в себе консерватора патриархальной среды и офицера-мятежника. Ответом мне было молчание.

В августе 1917 года, когда царская семья была уже в Тобольске, Соловьев едет туда и пытается проникнуть к епископу Гермогену, установившему добрые отношения с семьей.

Это ему не удается.

5 октября 1917 года он женится на дочери Распутина Матрене и снова едет в Сибирь. Семья покойного Распутина проживала в с. Покровском Тобольской губернии. Соловьев поселился не с ней, а в Тюмени, узловом пункте, которого нельзя миновать едущим в Тобольск. Он жил здесь под именем Станислава Корженевского. Я спрашивал Соловьева, как же объяснить его роль в дни смуты и близость к Распутину.

Он много говорил мне о запросах человеческого духа. В чрезвычайно светлых тонах рисовал он на следствии личность Распутина, а себя самого — как моралиста и глубоко религиозного человека.

Но моральный облик Соловьева его жена в своем дневнике[3] рисует так: 27 января 1918 года: «Очень часто любит немножко прибавить, мне это не правится, но перевоспитать человека трудно. Я люблю людей правдивых, это для меня главное. Правда солнце яркое».

13 февраля того же года: «Решила ни на грош не верить Боре. Он мне все врет, как не стыдно, вот низость-то для мужчины врать, по-моему, такому мужчине и руки не надо подавать, а я еще его жена. Надо его от этого отучивать, но как. Раз его с малых лет не воспитали и не научили. Он мне много говорил неправды... Буду надеяться, что Господь его исправит, хотя и существует пословица «горбатого одна могила исправит».

30 сентября того же года: «Не знаю, что писать, с чего начать, так много было разных происшествий, что передать трудно и думать и писать обо всем. Только одно могу написать и сказать, что Боря страшный хвастун».

Религиозные стремления своего мужа

---

[1] Генерал А. И. Деникин. Очерки русской смуты. Т. 1. С. 102.

[2] Дневник Б. Н. Соловьева был изъят мною у него 28 декабря 1919 года в г. Чите.

[3] Дневник М. Г. Соловьевой был изъят мною у нее 28 декабря 1919 года в г. Чите. Цитирую его, сохраняя орфографию.

Соловьева в том же дневнике изображает нам так: 22 апреля 1918 года: «Вот и дождались Христову Пасху, к заутрене не ходили — проспали и досадно и страшно; была у обедни одна, Боря не пошел, спал». 25 декабря того же года: «Была утром в церкви; Боря проспал».

Я спрашивал Соловьева, на чем основан его брак с дочерью Распутина. Он ответил мне, что он женился по любви. То же показала и она.

Но вот что читаем мы в дневнике его жены:

27 января 1918 года: «Вот я не думала, что будет скучно без Бори, но ошиблась... Оказывается, я его люблю».

24 февраля того же года: «Дома был полный скандал, он мне бросил обручальное кольцо и сказал: «Я ему не жена».

25 февраля того же года: «Чувствую себя ужасно. Со вчерашнего дня перемену слышу в моей совести и не могу так горячо любить Борю, это, конечно, пройдет. Мне тяжело на него смотреть. Мне кажется, что повешено на меня 100 пудов тяжести».

26 февраля того же года: «Борю видела очень мало, последнее время он чаще стал уходить по делам, чему я очень рада. Чувствую себя немного лучше, но осадок прошлого вчерашнего еще не оставляет меня в покое. Когда же я наконец найду тихую пристань».

27 февраля того же года: «Чаще и чаще учащаются ссоры. Жить уже стало невыносимо».

3 марта того же года: «Жалко мне расстаться с ним».

23 марта того же года: «Несколько месяцев тому назад он был для меня нуль, а теперь я его люблю безумно, страдаю, мучаюсь целыми днями».

16 апреля того же года: «С Борей встретилась после продолжительной разлуки — была я лично рада, но Боря нет — я для него не гожусь ни телом, ни душой. Зачем я вышла замуж, раз я такова — как он говорит».

11 мая того же года: «Ссоры да ссоры, нет им конца... Каждый день от Бори слышу: «У тебя рожа и фигура никуда не годятся». А мне разве приятно слышать такие речи. Ну Бог с ним, миленьким».

30 июня того же года: «Сегодня мне он объявил, что он страдает из-за нас, ой как мне было неприятно слушать, говорит, что кается, что поженился на мне; на такую идет откровенность, от которой уши болят, а сердце разрывается».

3 августа того же года: «Вообще есть ли у меня хорошие светлые, радостные дни, кажется, их нету, видишь, живешь среди горестей и обид. Боря страшный эгоист; он любит только себя, больше никого; ко мне он относится ужасно, груб неимоверно; мне кажется, долго мы с ним не проживем; меня как-то эта мысль и не пугает очень-то, уж свыклась с ней. Где же мое счастье? Я его не вижу. За 10 месяцев вижу только грубости».

6 июля того же года: «Слава Богу, пришлось уладить ужасную сцену; Боря вчера решил уехать от меня совсем, собрал все вещи, если бы я его не умолила остаться, он бы уехал. В минуту столько мне пришлось пережить, прямо трагедия. Теперь, конечно, ему стыдно, неприятно оставаться здесь; мама ничего не знает о том, что Боря меня ударил, а только одна Варя[1]. Боря ненавидит всех наших, это видно по всему».

16 августа того же года (во время поездки в поезде): «Ах, как я бы хотела видеть Варю, теперь я понимаю, что ближе Вари у меня никого нету. У меня сегодня ночью нету места и Боря к себе не пускает меня, потому что ему неудобно, даже дал пощечину, а разве Варя сделала бы так, да никогда, ей бы даже не было удобно, но и то уступила бы».

18 августа того же года: «Мне кажется, до старости лет мы не доживем, разведемся».

28 августа того же года: «Со мной он совершенно не считается да и не желает».

2 сентября того же года: «Сегодня я рассердила Борю и он на меня так рассердился как никогда, гнал меня от себя, назвал сволочью, дурой».

8 октября того же года: «Как я вижу, Боря меня стесняется, то есть не меня, а моей фамилии, боится, а вдруг что-нибудь скажут».

---

[1] Сестра Соловьевой, младшая дочь Распутина.

18 октября того же года: «Прямо беда, тоска непомерная. Я бы много могла написать в дневник, но оказывается — говорить можно только с подушкой-подружкой. Одно боюсь — развода».

25 ноября того же года: «Ах, как бы я хотела иметь близкого человека. Боря иногда настолько бывает груб и дерзок, нету сил никаких; я его тогда прямо ненавижу. Тогда мне хочется броситься к кому-нибудь другому на шею и забыться от горя».

2 декабря того же года: «Страшно хочется увидеть Варю... Почему мы с Борей ссоримся часто, даже он меня ударяет сильно иногда, ужасно тяжело переносить оскорбления».

Сам Соловьев в своем дневнике 13 апреля 1918 года отмечает: «Продолжая жить с ней, надо требовать от нее хоть красивого тела, чем не может похвастаться моя супруга, значит, просто для половых сношений она служить мне не может — есть много лучше и выгоднее».

Матрена Соловьева кончает свой дневник за 1918 год такой записью: «Недаром дорогой мне отец сказал: «Ну, Матрешка, ты у меня злосчастная». Да я и есть такая, вижу, что он ни говорил, все буквально исполняется. Много мне приходится страдать, надо молиться Богу, а не роптать, а я ропчу, бывают, конечно, и хорошие минуты в моей жизни, но это редко. Боря, оказывается, совсем не такой, как я его представляла, и благодаря этому испортил меня».

Наблюдавший Соловьевых поручик Логинов, живший во Владивостоке в общей с ними квартире, показывает: «Матрена Соловьева до самой смерти своего отца не любила Соловьева, и, как она говорит, с ней произошла неожиданная для нее перемена. Она неразвитая, простая, запуганная и безвольная. Он делает с ней, что хочет. Бьет ее. Он гипнотизирует ее. В его присутствии она ничего не может говорить что-либо нежелательное ему. Я и моя жена были свидетелями, как он усыпил ее на Русском Острове. Перед нами прошла сцена усыпления — ненормальный сон, беспорядок в костюме, бессмысленно раскрывающийся рот, пот и судороги. Истерический смех и крики — она видела падающий и разбивающийся поезд, в котором ехала ее сестра. Он приказал ей забыть о сестре, и она уже не вспоминала о ней».

И как бы в подтверждение этих слов, мы читаем в дневнике Соловьева: «Имею силу заставить Мару[1] не делать так, заставить даже без ведома ее, но как осмелюсь, зная начало вещей».

Дневник Матрены Соловьевой несколько вскрывает тайну ее брака. Мы читаем там:

15 марта 1918 года: «Дивны дела твои, Господи... Первый раз чувствовали так близко нашего дорогого тятеньку, так было хорошо и вместе с тем горько и обидно, что не могли слышать папиных слов из его уст, но умы ясно чувствовали, что он был с нами. Я его видела во сне, он мне сказал: я буду в 4 часа у Раи, и мы как раз собрались вместе у нее. Ольга Владимировна[2] говорила по тятенькиному учению, не она говорила с ним, а тятенька».

16 марта то же года: «После вчерашнего дня я еще больше полюбила Ольгу Владимировну, она рассказывала, что была на Гороховой, заходила во двор и чувствовала папин дух. Ольга Владимировна велела мне лечить Борю, и я должна это делать».

5 апреля того же года: «Была у Ольги Владимировны... Почему-то все говорит, чтобы я любила Борю, ведь я его и так люблю».

По чужой воле и не любя, вышла дочь Распутина за Соловьева. Не знаю, была ли она ему женой, или рабыней. Но ему нужна была не она, а имя Распутина.

Зачем?

Распутина не было, но его кружок и руководители существовали. По-прежнему царила в нем сплошная истерия. По-прежнему там пребывала самый вредный его член Вырубова.

Поселившись в Тюмени, Соловьев вошел в сношения с Императрицей. Он был посредником распутинского кружка

---

[1] Матрена Соловьева старается пользоваться более благозвучным именем Мария. Так называет ее и муж.

[2] Ольга Владимировна Лохтина — поклонница Распутина.

и Императрицы, доставляя в Тобольск и в Петроград письма.

Я указывал в свое время, что в Тобольске проживали две горничные Государыни: Уткина и Романова. Они не значились в списках прислуги, приехали в Тобольск уже после приезда царской семьи и жили отдельно на частной квартире.

Обе они были распутинианки, а одна из них впоследствии вышла замуж за большевика. Через них Соловьев и имел сношения с Императрицей.

Характерна деталь. С ними вместе жила преданнейшая Государыне ее камер-юнгфера Занотти. Она не знала о сношениях Императрицы с Соловьевым: от нее это скрывалось.

Следствие вскрыло, кто был тот «хороший русский человек», который обманывал Императрицу и усыплял ее лживыми надеждами на мнимое спасение. Это был Соловьев. Не нужно доказывать, почему ему верили. Ведь он — зять Распутина.

Но он делал нечто большее.

Боткина показывает: «Надо отдать справедливость нашим монархистам, что они собирались организовывать дело спасения Их Величеств, вели все это, не узнав даже подробно тобольской обстановки и географического положения города. Петроградские и московские организации посылали многих своих членов в Тобольск и в Тюмень, многие из них там даже жили по нескольку месяцев, скрываясь под чужим именем и терпя лишения и нужду, в ужасной обстановке, но все они попадались в одну и ту же ловушку: организацию о. Алексея[1] и его главного руководителя поручика Соловьева, вкравшегося в доверие недальновидных монархистов, благодаря женитьбе на дочери одного лица, пользовавшегося уважением Их Величеств... Соловьев действовал определенно с целью погубить Их Величества и для этого занял очень важный пункт Тюмень, фильтруя всех приезжавших и давая директивы в Петроград и Москву... Всех стремившихся проникнуть к Их Величествам Соловьев задерживал в Тюмени, пропуская в Тобольск или на одну ночь, или совершенно неспособных к подпольной работе людей. В случае же неповиновения ему он выдавал офицеров совдепам, с которыми был в хороших отношениях... Никакой организации не было, и все 300 человек, о которых любил говорить о. Васильев и о которых даже Их Величества знали, были чистым вымыслом».

Лидер русских монархистов член Государственной думы Марков[2] показал: «В период царскосельского заключения Августейшей Семьи, я пытался вступить в общение с Государем Императором. Я хотел что-нибудь делать в целях благополучия царской семьи и в записке, которую я послал при посредстве жены морского офицера Юлии Александровны Ден, очень преданной Государыне Императрице и одного из дворцовых служителей, я извещал Государя о желании послужить царской семье, сделать все возможное для облегчения ее участи, прося Государя дать мне знать через Ден, одобряет ли он мои намерения, условно: посылкой иконы. Государь одобрил мое желание: он прислал мне через Ден образ Николая Угодника. К осени кое-что удалось сделать, и мы решили послать в Тобольск своего человека для установления связи с царской семьей, выяснения обстановки и, если того потребуют обстоятельства, увоза ее, если ей будет угрожать что-либо. Наш выбор пал на офицера Крымского полка, шефом которого была Императрица, N. Это был человек, искренно и глубоко преданный Их Величествам. Он был лично и хорошо известен Государыне Императрице. Его также знал и Государь. В выборе N мы руководствовались началом выбрать человека преданного, надежного и в то же время без громкого имени. N вполне удовлетворял нашим желаниям... Я удостоверяю, что перед посылкой N я пытался ради общей цели установить соглашение с Анной Александровной Вырубовой, но она дала мне понять, что она желает действовать самостоятельно и независимо от нас. Я не помню, называл ли я ей фамилию N, но о намерении нашем послать в То-

---

[1] Васильев — священник в Тобольске, как указывалось выше. Он не имел никакой организации, но был в первое время связан с Соловьевым. Потом они рассорились на почве денежных дел.

[2] Свидетель Н. Е. Марков был допрошен мною 2 июня 1921 года в г. Рейхенгалле.

больск своего человека она знала... Мы получили от N письмо, в котором он извещал о своем прибытии в Тюмень. Но этим все и ограничилось. Больше от N не было никаких известий. Спустя некоторое время был решен отъезд в Сибирь офицера Сергея Маркова. Этот Марков был близок с Ден и, вероятно, с Вырубовой. Он ехал на деньги Вырубовой и по ее желанию. А так как наша организация в денежных средствах была весьма стеснена, то я воспользовался отъездом Маркова, дав ему поручение отыскать N, войти с ним в сношения и побудить его известить нас о ходе его работы. Пока N еще не возвращался, мне из кружка Вырубовой было дано понять, что мы совершенно напрасно пытаемся установить связи с царской семьей посылкой наших людей; что там на месте работают люди Вырубовой; что мы напрасно путаемся в это дело и неуместным рвением только компрометируем благое дело. Я совершенно не помню теперь, кто именно из кружка Вырубовой передал мне это. Но факт этот я положительно и точно утверждаю, что при этом делалась ссылка на волю Ее Величества: что наша работа вызывает опасения Государыни. Если не ошибаюсь, нам было передано, кажется, что Ее Величество в письме к Вырубовой высказала это... Весной 1918 года в Петроград приехал Марков. Он нам сказал, что в Тюмени (может быть, он говорил еще и про Тобольск) во главе вырубовской организации стоит зять Распутина Соловьев; что дело спасения, если понадобится, царской семьи налажено Соловьевым; что нахождение там N и вообще кого-либо другого нежелательно. Никаких подозрений в то время мне не запало в голову. Отсутствие у нас денежных средств наводило меня тогда на мысль: кружок Вырубовой, вероятно, обладает средствами, и, быть может, действительно посылка наших людей может повредить общему делу спасения царской семьи. Только сам Марков, которого я лично знал очень мало и относился к нему, исходя из оценки его, данной мне Ден, мне после возвращения его из Сибири представился в ином свете: его рассказы внушали мне мало доверия, представлялись малоубедительными, сам он лично производил впечатление молодого человека, излишне смелого и чрезвычайно настойчивого и притязательного в денежных вопросах. Позднее приехал N. Из его доклада я увидел, что он абсолютно ничего не сделал для установления связи с царской семьей; что он ни разу не побывал в Тобольске, когда там находился Государь Император, и выехал туда только тогда, когда Их Величества и Великая Княжна Мария Николаевна ехали из Тобольска. Из его слов было совершенно ясно, что каким-то образом его в Тюмени совершенно подчинил себе Соловьев, препятствовавший ему ехать в Тобольск и выпустивший его только тогда, когда Государь уже уезжал из Тобольска. Самый факт подчинения воли N воле Соловьева был очевиден, он доказывался поведением N; кроме того, он об этом говорил сам. Какими способами достиг этого Соловьев, я не знаю».

Я допрашивал наиболее активного работника в той же группе русских монархистов Соколова[1]. Он показал: «Положение царской семьи, заключенной в Царском, озабочивало нас, но мы не могли ничего предпринять в первые месяцы после отречения Государя в силу общих событий: более чем кто-либо, гонениям подвергались именно мы, правые монархисты. К осени 1917 года нам уже удалось кое-что сделать в смысле собирания сил. Было решено озаботиться о судьбе царской семьи и попытаться выяснить ее положение, установить известное общение с ней, дабы в случае опасности прийти на помощь к ней. С нашими кругами имела общение Юлия Александровна Ден, близкое лицо к Государыне Императрице. Когда нами было решено послать определенное лицо в Тобольск, Ден указала двоих офицеров: N и Маркова. N производил лучшее впечатление в сравнении с Марковым как человек более серьезный, вдумчивый, основательный; при этом же он был и более известным Их Величествам. Организация предпочла послать его, и он уехал, кажется, в сентябре 1917 года... Он известил нас о своем прибытии в Тюмень. Дальше мы сведений о нем никаких не получали и совершенно не знали, где он и что делает. Это обстоятельство смущало нас, и мы стали обдумывать вопрос о

---

[1] Свидетель В. П. Соколов был допрошен мною 3 июня 1921 года в г. Рейхенгалле.

посылке других офицеров в Тобольск... Состоялась посылка Маркова, о котором я говорил раньше. Я не могу Вам хорошо сказать, на чьи деньги ездил Марков тогда в Тобольск. Николай Евгеньевич Марков, вероятно, знает это лучше меня. Уехал Марков приблизительно в январе 1918 года. Ему было поручено отыскать N, поставив ему на вид его молчание, но в дальнейшем поступить под его начало и слушаться его. Я затрудняюсь сказать, когда именно: до посылки Маркова или после его посылки, но только нам дано было знать из кружка Анны Александровны Вырубовой, что мы напрасно посылаем в Тобольск людей, что это нежелательно для налаженного уже силами кружка Вырубовой дела спасения царской семьи. Кажется, в это же время и было названо имя Соловьева как организатора на месте этого дела. Приблизительно в конце марта или апреля вернулся из поездки Марков. Он начал нам рассказывать что-то несусветное. Он говорил, что на месте в Тобольске и вокруг него собраны громадные силы, говорил про целые кавалерийские полки, совершенно готовые для спасения в любую минуту царской семьи, занимающие известные пункты, и во главе всего этого дела стоит Соловьев. В то же время выяснилось из рассказа Маркова, что он сам в Тобольске не был и не только не установил связи с N, но, кажется, даже и не видел его. Вместо того, чтобы найти N и поступить под его начало, он был в полном подчинении Соловьева, который давал ему вышеуказанные сведения и руководил его действиями. Я, признаться, отнесся с недоверием к рассказам Маркова: как-то не походило на правду все то, что он нам говорил. Приблизительно в конце апреля приехал N. Из его доклада выяснилось, что он ничего абсолютно не выполнил из тех поручений, которые были возложены на него в отношении царской семьи; что, прибыв в Тюмень, он каким-то образом сошелся с Соловьевым и всецело руководился его указаниями, а Соловьев отговаривал его ехать в Тобольск и вообще предпринимать что-либо, уверяя, что все им налажено, что он в сношениях с царской семьей, что пребывание в Тобольске N может только повредить делу. Я не помню, говорил ли N об угрозах ему от Соловьева, если он не подчинится его требованиям, но выходило-то так, что N слушался не нас, а Соловьева. N было указано нами, что он не сделал того, что на него было возложено, и он чувствовал себя сконфуженным».

22 ноября 1918 года офицер N по своей инициативе явился в Екатеринбург к моему предшественнику, члену суда Сергееву и заявил ему следующее: «Узнав о том, что Вы производите следствие об убийстве б. Императора Николая Александровича и членов его семьи, я явился к Вам, чтобы сообщить следующие факты: как офицер полка, шефом которого была б. Императрица Александра Федоровна, я по соглашению с некоторыми другими офицерами, преданными царской семье, задался целью оказывать заключенному Императору возможную помощь. Почти всю минувшую зиму я провел в Тюмени, где познакомился с Борисом Николаевичем Соловьевым, женатым на дочери известного Григория Распутина. Соловьев, узнавший как-то о моем появлении в Тюмени, сообщил мне, что он стоит во главе организации, поставившей целью своей деятельности охранение интересов заключенной в Тобольске царской семьи путем: наблюдения за условиями жизни Государя, Государыни, Наследника и Великих Княжен, снабжением их различными необходимыми для улучшения стола и домашней обстановки продуктами и вещами и, наконец, принятием мер к устранению вредных для царской семьи людей. По словам Соловьева, все сочувствующие задачам и целям указанной организации должны были являться к нему, прежде чем приступить к оказанию в той или иной форме помощи царской семье; в противном случае, говорил мне Соловьев, я налагаю «вето» на распоряжения и деятельность лиц, работающих без моего ведома. Налагая «вето», Соловьев в то же время предавал ослушников советским властям; так, им были преданы большевикам два офицера гвардейской кавалерии и одна дама, имен и фамилий их не знаю, а сообщаю Вам об этом факте со слов Соловьева».

Хотя и поздно, но все же освободился от чар Соловьева офицер N. До судьи Сергеева он дошел не сразу. Переживая свои злоключения в Тюмени, он говорил о них некоторым другим людям.

В мае месяце 1918 года в Тобольск прибыл офицер Мельник. Он женился на дочери доктора Боткина Татьяне. С молодыми Мельниками сошелся офицер N и многое рассказывал им.

Мельник показывает[1]: «О деятельности Соловьева я очень много слышал от N, который был послан в Тобольск петроградской организацией, но в Тюмени принужден был прожить более четырех месяцев, где в это же время находился и Соловьев. Только один раз Соловьев разрешил, перед самым увозом большевиками царской семьи из Тобольска в Екатеринбург, N поездку в Тобольск, но на одни сутки. На мой вопрос, почему N так слушался Соловьева, N мне сказал, что Соловьев рассказал ему о том, как он выдал двоих офицеров тюменскому совдепу за то, что эти офицеры без разрешения Соловьева ездили в Тобольск. Офицеры эти были командированы одной из организаций в Тобольск, о чем Соловьеву не могло быть не известно. Соловьев говорил N, что всех едущих в Тобольск офицеров без его разрешения он выдает совдепу».

Брат доктора Боткина полковник Боткин[2] показывает: «N рассказывал мне о том, что в Тюмень приезжали офицеры каких-то организаций к Соловьеву и также передавали ему деньги для вышеуказанной цели, причем Соловьев не допускал этих офицеров в Тобольск, а деньги присвоил себе. Тех же офицеров, которые помимо разрешения Соловьева пытались проехать в Тобольск, Соловьев выдавал большевикам».

Он выпустил офицера N в Тобольск только на один день. Знаменательно: это был день, когда Яковлев увозил Государя. N встретил их в пути.

Мы видели, что Императрица считала Тюмень основной базой, где работает для спасения семьи «хороший русский человек». Но ведь она связывала, объединяла в одно целое и Тюмень, где сидел Соловьев, и Омск, откуда приехал Демьянов.

[1] Свидетель К. С. Мельник был допрошен военным контролем 2 ноября 1919 года; судебным следователем по важнейшим делам Ростовского-на-Дону Окружного суда Павловым, по моему требованию, 18—19 августа 1923 года в Сербии.

[2] Свидетель В. С. Боткин был допрошен военным контролем 2 ноября 1919 года.

Нет сомнений, одними общими действиями Соловьев был связан с Демьяновым.

Но роль Демьянова была подсобная: он помогал Яковлеву увезти Царя, что было главной целью.

Не был ли связан с Яковлевым и Соловьев?

Царь не знал заранее, что его увезут из Тобольска. Он не хотел этого. Никто вообще не знал об этом в Тобольске. Но Соловьев знал об этом заранее, ровно за две недели. Под датой 12 апреля 1918 года (нового стиля) он отмечает в своем дневнике о предстоящем увозе семьи из Тобольска.

Есть и другой факт.

Сергей Марков — офицер Крымского полка, шефом которого была Императрица, пасынок известного Ялтинского градоначальника генерала Думбадзе. Его связь с Распутиным началась с 1915 года. Он был в его кружке свой человек. Матрена Соловьева везде называет его в дневнике «Сережей».

Проживая в Тюмени под именем Сергея Соловьева, Марков служил у большевиков как красный офицер и командовал у них в Тюмени «революционным уланским эскадроном».

Этот эскадрон, по выбору Яковлева, и конвоировал Государя в последний переезд к Тюмени.

Марков был в полном повиновении у Соловьева.

С увозом царской семьи из Тобольска роль их в Тюмени кончилась.

22 мая проехали через Тюмень, направляясь в Екатеринбург, дети Царя.

Марков отправился следом за ними и через Екатеринбург прибыл в Петроград.

Как он лгал здесь, нам рассказали свидетели.

В августе месяце 1918 года Марков — в Киеве, занятом тогда немцами. Его роль здесь все та же. В Петрограде он лгал русским монархистам, что все готово для спасения царской семьи. В Киеве он лгал им, что ее спасли.

Странным казалось поведение молодого русского офицера. Некоторым оно казалось подозрительным.

(Продолжение следует)



Владимир Якубенко

ПРЕДКИ

Не от журнальной замети
в скулящей тишине
по горизонту памяти
они идут ко мне.

Идут и... отдаляются,
и времени не сжать!

И тщетно взгляд цепляется —
хоть что-то удержать...

Над ними — уничтоженность.
Под нами — прах земли...
Кто скажет мне, за что же нас
так страшно развели?

«РЕ»

Путь у России всю жизнь многотруден —
брать ей дано за редутом редут.
Не суждено ей спокойствие буден;
Троцкие — могут быть, эти придут.

Марксы придут, помарксистее первого —
есть же Россия — такой полигон!
Примем мы все, что другими отвергнуто,
но раскатаем и этих богов.

Век прочудим, оглядимся-осмотримся,
сбросим с себя наважденье от слов
и постановим на пленуме с гордостью,
что не туда нас опять занесло.

Нам к эволюции «ре» присобачили,
чтоб объегорить естественный ход, —
перекорежили, переиначили...
Все пере... пере... А жизнь не идет.

В этом-то «пере...» собака и спрятана —
кверху корнями ничто не растет.
Все, что тебе, низвергатель, приятно,
внук мой за тысячу верст обойдет.

ОБРАЗА

Чужими принесенная ветрами,
над Русью распоясалась гроза, —
безмолвные, под злыми топорами
бессмертье обретали образа.

Явив собою судьбы непростые
и храмов, и неведомых пустынь,
горели незлобивые святые,
храня в очах суровейшую стынь.

Сгорели...
Только стынь и сохранилась...
Без благозвучья выверенных служб

она в людские души просочилась.
И где ж ей быть, как не в пустотах душ?

Зло расплодив, уже иные лики
вошли в дома на слабостях людских... —
Без нимбов, но с эпитетом «великий»
горят они на свалках городских.

Даст Бог, пройдет в России эра бесья —
и катанье забудут, и мытье...
Уходит дым со свалок в поднебесье,
бессмертье заменив на забытье.

□ □ □

Как метафору зла
сердцем воспринимаю
водруженный над нами державный кумач, —
«После тяжких трудов,
над страной поднимая,
сушит мокрую робу палач».

Опусти свой кафтан,
всеми признанный катом,—
самовластье твое не забудут в веках, —
терпеливый народ в развалившихся хатах
«Капитал» изучил на пустых сундуках.

Опусти, не дразни, —
застоявшимся басом
восстает ото сна усыпленный тобой,
о правах заявив всею мощью Кузбасса,
и его не столкнуть, по привычке, в забой.

Не прикрыть тебе грех твой
ни ленинским ликом,
ни хозяйским хлопком ослабевшей
вожжи, —
в прегрешеньях твоих, непомерно великих,
нависает над всем изобилие лжи.

Огласив «ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!»,
ты впился в скрижали,
что начертаны кровью казненных тобой.
Так верни же ее, пока в глотках зажато
«ЭТО ЕСТЬ НАШ ПОСЛЕДНИЙ
И РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ».

ВСЕ ТО ЖЕ...

Все те же закаты,
все те же рассветы,
и так же с дерев облетает листва.
Все те же вопросы,
все те же ответы, —
все те же друг другу бросаем слова.

Все тем же богам те же жертвы приносим,
все так же тревожим неверье свое.
Все так же надеемся, терпим, и просим,
и так же апостолов тех же клянем.

И так же противимся новым пророкам,
и так же готовы отважных распять...
О, сколько же можно
все те же уроки
все с тем же безумием
вновь повторять?!

□ □ □

Винится пред народом власть...
Ну что ж? — Обычное явленье.
Но кто простит, пред кем упасть
лицом в российский прах развеянный?
Он сплошь: в глазах, в душе, в горсти...
Над ним никчемные воззвания...
Никто, увы, нам не простит
десятилетий прозябания.

Звучит фальшивый благовест, —
он, как и все вокруг, ничтожен.
Кто был способен на протест —
давно и напрочь уничтожен.
И даже их мятежный след
исчез в советских каракумах,
и снова нужно сотни лет
для созреванья аввакумов.
Пока же тянем, тянем глас
из нашей трусости и лени...

Простите нас, простите нас,
потомки в пятом поколении...



ДНЕВНИК ГЕНЕРАЛА ПЕПЕЛЯЕВА

15 января 1924 года в Чите Военный трибунал 5-й краснознаменной армии начал процесс по делу бывшего белогвардейского генерала Анатолия Николаевича Пепеляева и его ближайших соратников, обвинявшихся по п. I 58-й статьи советского Уголовного кодекса.

Председательствовал в суде Беркутов, обвинителями были прокуроры Дебрев и Хаит, защиту осуществляли адвокаты Трупп, Малых и Бенцианов.

Процесс продолжался более двадцати дней с опросом свидетелей. Показания дали бывший командующий вооруженными силами Якутии и Северного края К. К. Байкалов, отважный красный командир И. Я. Строд и другие.

А. Н. Пепеляев и его соратники обвинялись в организации белогвардейского отряда, названного ими Сибирской добровольческой дружиной, и в вооруженном походе с целью свержения Советской власти в ЯАССР и на Камчатке.

Еще задолго до суда Пепеляеву была предоставлена возможность обратиться через Харбинскую газету «Новости жизни» к эмигрантским кругам с письмом, в котором, в частности, говорилось:

«С начала сибирского движения боролся я с властью коммунистов. Имел одну цель — спасение Родины, не допустить до развала и гибели народное хозяйство, считая, как и большинство интеллигенции, коммунистическую власть способной только разрушать со страшной жестокостью все основы государственности. То же чувство бесконечной любви к народу и Родине двигало мною, когда я по зову представителей Якутской области с горстью самоотверженных людей и бескорыстных бойцов пошел в далекую и суровую Якутию, чтобы оттуда протянуть руку народу, который, как казалось нам, гибнет под властью коммунистов.

Потеряв половину своих бойцов, мы вынуждены были вернуться на побережье. В порту Аян без сопротивления мы добровольно сдались отряду регулярной Красной Армии».

4 января 1924 года А. Пепеляев и остальные обвиняемые вновь обратились через советскую и зарубежную прессу с разъяснением своих ошибок и предостережением к тем, «кто вел, ведет или собирается вести гражданскую войну ради своей личной выгоды и наживы...».

Трудно сегодня судить, насколько искренними были эти заявления пепеляевцев, не из чувства ли самосохранения они были написаны, да и ими ли были написаны... В нашей послереволюционной истории встречаются и не такие «искренние признания», смысл которых нам стал известен лишь в последнее время.

Как бы там ни было, 21 пепеляевец из 78-ми во главе с бывшим генералом были приговорены судом военного трибунала к высшей мере наказания — расстрелу. Остальные — к различным срокам лишения свободы. Однако по ходатайству Дальревкома, защиты и просьбе самих приговоренных о помиловании, постановлением ВЦИК высшая мера социаль-

ной защиты была заменена всем десятью годами лишения свободы, с зачетом предварительного заключения. (ЦГА РСФСР ДВ, фр-2460, оп. 1, д. 106, л. 244).

О дальнейшей судьбе осужденного А. Пепеляева и его ближайших соратников авторам публикации дневника ничего пока не известно, кроме того, что А. Пепеляев был осужден сроком на десять лет. Погиб в 1938 году (?). До нас дошли лишь домыслы, слухи, легенды. Не исключено, что по мере рассекречивания документов государственных, партийных архивов и различных спецхранов в ближайшем будущем что-нибудь и прояснится в этом вопросе.

Следует, однако, заметить, что на скамье подсудимых в Чите не было никого из главных организаторов и вдохновителей якутского похода. Был осужден лишь Нельканский подрядчик — русский коммерсант П. Филиппов. Бывший же политссыльный, эсер П. Куликовский, работник потребсоюза «Холбос», накануне якутского похода дружины Пепеляева назначенный Дитерихсом ««Управляющим Якутской областью», после взятия красными Амги отравился, приняв большую дозу морфия.

Примерно 50 якутов-повстанцев, представленных на суде, были переданы в распоряжение правительства автономной республики и амнистированы им. «Не были наказаны даже главари буржуазно-националистических банд М. Артемьев, П. Сысолятин и другие, на чьей совести лежало немало тяжких преступлений против народа и Советской власти» (Петров П. Разгром пепеляевской авантюры. Якутск, 1955, с. 91).

Сбежали за границу бывший председатель Временного Якутского областного народного управления (ВЯОНУ) Г. С. Ефимов, якутский купец Г. Никифоров и другие. А ведь без этих заговорщиков и поставщиков финансово-материальных средств, без этих «представителей» так называемой якутской общественности генерал А. Пепеляев не отважился бы на свой последний военный поход.

Разгоревшийся в восточных районах Якутии осенью 1921 года белоповстанческий мятеж, принявший затем широкие размеры, под ударами частей Красной Армии и добровольцев к осени 1922 года был, в основном, подавлен. Пепеляевский поход явился как бы продолжением того антисоветского движения, но уже в новых условиях: еще 27 апреля 1922 года был издан декрет ВЦИК об образовании Якутской АССР. 1 мая того же года в Якутске были проведены торжества, связанные с этим событием. Провозглашение бывшей Якутской области автономной республикой ослабило антисоветскую агитацию националистических вожаков среди местного населения. Но очаг восстания еще тлел.

6 сентября 1922 года в порту Аян высадились основные силы пепеляевской дружины. Ознакомившись с обстановкой после встречи с бывшим «командующим» так называемой якутской народной армии корнетом В. Коробейниковым, выслушав купцов Борисова, Галибарова и других вдохновителей мятежа, А. Пепеляев хотел было повернуть назад, но поддался их уговорам и посулам.

На второй день в Аяне состоялось совещание. На нем присутствовали А. Пепеляев, его офицеры, «управляющий областью» П. Куликовский, представители якутского тойонатства В. Борисов, Д. Борисов, С. Попов, А. Новгородов, купец татарин Ю. Галибаров и другие.

На этом совещании А. Пепеляев был утвержден командующим всеми белоповстанческими отрядами вместо корнета В. Коробейникова. Здесь же было решено сосредоточить всю гражданскую и военную власть в руках «управляющего областью» П. Куликовского. На самом же деле власть принадлежала ему только формально.

На первом аянском совещании А. Пепеляев заявил:

«Мы пришли не навязывать свою волю, свою власть. Мы не будем насаждать ни монархии, ни республики. Поможет Бог, отстоим область, и тогда само население скажет, кого оно хочет... Для меня теперь важно узнать от вас, готово ли население поддержать нас. Для меня важно, чтобы инициатива начинающегося движения взята была местными людьми. Я бы желал только сосредоточить распоряжение всеми военными силами дружины. Идею движения, руководство и питание его должны взять вы, местные люди...»

Галибаров (купец): «Мы воскресли. Кричим «Ура». Я по-прежнему готов работать. Из

населения только 15—10 процентов против нас, остальное ждет Ваше превосходительство. Население ушло в лес, побросало хозяйство». (Сб. «Якутские зарницы». Якутск, 1927. № 2).

После такой восторженной и теплой встречи у А. Пепеляева отпали все сомнения в целесообразности похода. Но действительность вскоре преподнесла первые сюрпризы. 2 ноября 1922 года на совещании представителей военного командования дружины и лиц гражданского управления А. Пепеляев отметил тяжелое положение отряда в Нелькане, на реке Мае. «Люди изголодались, легко одеты и разуты. Из обуви сохранились только сто пар ичиг, и люди обматывают ноги шкурами. Из теплой одежды имеются в распоряжении лишь несколько десятков полушубков. Чрезвычайно тяжелые условия перехода Аян — Нелькан и голодовка истощили людей. Но несмотря на все это, настроение бодрое и люди рвутся дальше» («Красный архив», 1937. № 3).

Но дальше селения Амга дружинники и белоповстанцы не прошли. А. Пепеляеву и его помощникам потребовалось около четырех месяцев для того, чтобы собрать необходимое количество нарт для похода. Его основные силы «выступили в поход в конце декабря 1922 года: авангард А. Пепеляева 27 декабря, а остальные пепеляевские части отправлялись поэшелонно с 28 декабря 1922 г. по 9 января 1923 г. и штаб — 11 января. А. Пепеляев послал М. Артемьеву, командиру белоякутского повстанческого отряда, приказ: к концу января подготовить для его отряда продовольствие и транспорт, отрезать Петропавловск (в Якутии) от Амги и Якутска. Так начался поход Пепеляева». (П е т р о в П. Разгром пепеляевской авантюры. Якутск, 1955, с. 27).

В ночь на 2 февраля 1923 года 2-й батальон и кавдивизион пепеляевцев, пройдя 200 верст из района Усть-Мили, атаковали слободу Амгу с двух сторон и после часового боя белые выбили захваченный врасплох красный гарнизон А. Суторихина, где наибольшее сопротивление им оказала пулеметная команда Ренкуса. С обеих сторон имелись потери. Пепеляевцы взяли до 60 пленных, 5 пулеметов.

Заняв Амгу, А. Пепеляев стал готовиться к походу на Якутск. Навстречу ему из Якутска вышел экспедиционный отряд — батальон ЧОН и дивизион войск ОГПУ — под общим командованием К. Байкалова. Ровно через месяц — 2 марта — Амга была освобождена. На второй день неудачных боев с красным отрядом Е. Курашова, в 35 километрах от Амги, А. Пепеляев отдал приказ об отступлении к Аяну.

Громкую славу в Якутии заслужил подвиг сводного петропавловского красноармейского отряда под командованием И. Я. Строда. Окруженный со всех сторон противником, оказавшись без средств передвижения, он выдержал 18-дневную осаду пепеляевцев, сковал их главные силы в районе местности Сасыл—Сысыы (Лисьей поляны). Отряд И. Строда, находясь в исключительно трудных условиях ледовой осады, помешал противнику развить наступательную операцию на Якутск.

На судебном процессе в Чите генерал сделал такое заявление:

«Мы, все подсудимые, знаем о необычайной доблести красного отряда гражданина И. Строда и выражаем ему, как военные люди, искреннее восхищение. Прошу это мое заявление не посчитать за попытку облегчить нашу участь».

О падении Амги А. Пепеляев узнал в тот же день, 2 марта. Он собрал совещание своего штаба. На суде об этом А. Пепеляев рассказал:

«В Усть-Лыбе 2 марта я получил донесение о сдаче Амги. Там остался полковник Андрес с гарнизоном в 100 человек. Совет народной обороны, избранный на областном учредительном съезде (правильнее — на Аянском совещании.— *Сост.*) и состоявший из представителей якутской интеллигенции, разбежался. Я остался без поддержки, т. к. у якутов авторитетом пользовался Совет, он же формировал якутские партизанские отряды, изыскивал средства. После происшедших событий я понял, что якутская интеллигенция вела предательскую политику по отношению к обеим сторонам. Например, якут Михайлов оказался на стороне красных и принимал с ними участие в наступлении на Амгу; до тех пор он был на нашей стороне. В то же время красные пленные рассказывали, что в России все хорошо устроилось, что драться не к чему и т. д.» (газ. «Советская Сибирь». 1924. № 29).

В Амге вся штабная документация А. Пепеляева была захвачена красными частями. В качестве трофеев победителям досталось много продовольствия, вооружения, в том числе 700 пудов мяса, 17 тысяч патронов, мануфактура, около 1000 комплектов нового белья и около ста раненых пепеляевцев. (Петров П. Указ. соч. с. 62).

В погоню за отступающими пепеляевцами были направлены отряды краскомов Мизина и Курашова. Однако погоня по причине усталости лошадей и отсутствия фуража успехом не увенчалась.

Остатки дружины А. Пепеляева 8 апреля добрались до Нелькана. Через 10 дней все дружинники сосредоточились в Аяне и Охотске. В последнем опять обосновались отступившие отрядники генерал-майора Ракитина, сформированные им из добровольцев еще осенью 1922 года.

26 апреля 1923 года из Владивостока на пароходах «Ставрополь» и «Индигирка» отправился в рейс экспедиционный отряд красного командования. Путь предстоял неблизкий — через пролив Лаперуза, по Охотскому морю. Командиром отряда был назначен кавалер трех боевых орденов Красного Знамени, герой гражданской войны Степан Вострецов.

Перед ним стояла задача: завершить ликвидацию отступивших дружинников и белоякутов в Охотске и Аяне. В пути корабли, затертые льдами, простояли около месяца между островом Завьялова и полуостровом Кони. К Охотску подошли только 4 июня.

Высадив десант у мыса Марекан, в 30 километрах от Охотска, С. Вострецов с авангардом сибиряков, командиров и политработников в 150 человек форсированным маршем двинулся в Охотск.

Внезапным налетом, после короткого, но ожесточенного боя, Охотск был взят в 5 часов утра 5 июня 1923 года.

С обеих сторон были потери. Пленено было 78 ракитинцев. Начальник гарнизона Ракитин находился в это время на охоте. Его нашли и стали преследовать. Ракитин начал отстреливаться. Раненый, он не стал сдаваться в плен и застрелился.

Пароход «Ставрополь» с ранеными, пленными и лошадьми 12 июня был отправлен во Владивосток. Пароход «Индигирка» во главе с С. Вострецовым направился к Аяну. Теперь силы красного отряда с 800 штыков уменьшились до 500.

Высадившись через день в устье реки Алдомы, в 60 верстах от Аяна, Вострецов повел свой отряд к месту расположения дружины пешим порядком. По дороге на Аян был частью пленен 3-й батальон, состоящий главным образом из якутов, под командованием националиста поручика Рязанского. 31 отрядник сдался, 52 человека разбежались по тайге, в том числе 8 офицеров.

Бескровно прошла ликвидация основных сил дружины А. Пепеляева в Аяне. Сам А. Пепеляев показал на суде:

«В ночь на 17 июня, рано утром, я услышал на дворе какие-то крики и шум. Все находящиеся со мной быстро оделись и разобрали оружие. В окно я увидел группу людей и закрыл дверь. С улицы в это время послышалось:

— Сдавайтесь! Мы регулярные советские войска.

В это же время я увидел, что красногвардейцы и мои части рассыпаются. «Драться или нет? — думал я.— Если драться, то это была бы не борьба, а стремление спасти жизнь». Я решил сдаться и открыл дверь.

Первым зашел начальник экспедиционного отряда Вострецов, с револьвером в руке.

— Кто из вас генерал Пепеляев? — спросил он.

— Я.

Он подал мне руку.

— Вы честный человек, я гарантирую вам жизнь. Сейчас может произойти бой, если ваши части не сложат оружие. От вас зависит избежать бесцельного кровопролития.

Тогда я послал с приказанием своего адъютанта, и находившиеся при мне части сдались. В первый же батальон, дивизион и батарею я послал того же адъютанта с письмом, в котором предложил им без боя сложить оружие. Через 10—15 минут большинство дружины сложило оружие» (Газ. «Советская Сибирь», 1924, № 31).

В данной статье мы не коснулись вопроса об источниках финансирования организации и похода добровольческой дружины А. Пепеляева. Это отдельный вопрос, и если его подни-

мать, то потребовалось бы значительно расширить ее рамки. Финансовые средства изыскивали те, кто был непосредственно заинтересован в этом походе, а именно: якутские купцы, буржуазные интеллигенты-националисты, связанные с некоторыми иностранными торгово-промышленными фирмами, и эсер П. Куликовский. Не очень значительную сумму — 20 тысяч золотых рублей и оружие — выделил генерал Дитерихс, являвшийся в то время правителем Приморья. Командующий Сибирской флотилией контр-адмирал Старк выделил в распоряжение дружины морские суда.

Остановимся на личности А. Пепеляева. Он родился в 1891 году в семье военного. У отца было 12 детей, из них в живых оставалось на день суда 8 человек. Старший брат Анатолия, Виктор Николаевич, был депутатом IV Государственной думы, одним из лидеров кадетской партии, ярым антибольшевиком. В колчаковском правительстве начал службу с директора департамента полиции и закончил свою карьеру в должности председателя Совета Министров. 7 февраля 1920 года он был расстрелян в Иркутске вместе с адмиралом А. В. Колчаком по постановлению Иркутского губревкома. Более подробные сведения о нем мы сообщали в 6-м номере «Сибири» за 1989 год.

Анатолий Пепеляев окончил Омский кадетский корпус и Павловское военное училище (1910 год). На германскую войну был отправлен в чине поручика 42-го Сибирского стрелкового полка. Отличился в удачных разведках под Праснышем, Сольдау и т. д.

При отступлении русских войск из Польши летом 1915 года Пепеляев, имея в своем распоряжении лишь группу разведчиков из своей дивизии и сотню казаков, разбил два батальона немцев и вернул потерянные окопы.

В 1916 году Анатолий Пепеляев командовал батальоном под Барановичами. После заключения Брестского мира вернулся в Сибирь в чине подполковника. Был награжден многими военными орденами и золотым оружием. В 1918 году, до выступления чехословаков, возглавлял тайную военную организацию сибирских областников.

Об антисоветском восстании в Томске и о том, какую роль в нем играл А. Пепеляев, в 20-м номере белогвардейской газеты «Голос Сибирской армии» за 1919 год сообщалось: «В этом втором выступлении, прошедшем 31 мая в 3 часа утра (1918 г.), выдающуюся роль сыграл подполковник, ныне генерал-лейтенант Пепеляев. Решительными и быстрыми действиями к 6 1/2 часам утра город был очищен от красномадьяр, а уполномоченные Временного Сибирского правительства были освобождены. Комиссары бежали на пароходах (по Иртышу. Ликование жителей не поддается описанию. Отряды войск Временного Сибирского правительства встречались толпами народа и криками «Ура». К 11 часам дня улицы были запружены манифестациями и крестными ходами, ходившими с пением «Христос Воскресе!» Вербовщики не успевали записывать добровольцев. В дальнейшем Анатолий Пепеляев командовал Среднесибирским корпусом в составе Сибирской армии полковника, а затем генерала Рудольфа Гайды. Со своим корпусом — уже при Колчаке — первым ворвался в Пермь.

Будучи командующим северной группой войск Сибирской армии, 28 июня 1919 года генерал-лейтенант А. Пепеляев обращается после взятия г. Глазова к населению Пермской губернии и прифронтовой полосы с призывом: «Все на борьбу с врагом!»

Во второй половине 1919 года А. Пепеляев командовал 1-й Сибирской армией.

В 1920 году Анатолий Пепеляев оказался в харбинской эмиграции. Здесь он организует артель извозчиков, обзаводится парой лошадей и начинает зарабатывать на хлеб таким необычным для него способом. Гражданская война и военная интервенция на Дальнем Востоке еще продолжалась. Молодого генерала приглашает к себе Амурский большевистский ревком, желая использовать его богатый военный опыт в борьбе с белогвардейщиной и японцами. А. Пепеляев направляет к амурцам своих офицеров, и те убеждаются, что в области «власть не демократическая, а коммунистическая». Соглашение не состоялось.

Еще во время колчаковщины, когда армия адмирала под напором регулярных красных войск и партизанских отрядов все дальше откатывалась в глубь Сибири, Анатолий Пепеляев все чаще и настойчивее ставил вопрос перед «Верховным правителем» о созыве Земского Собора. В народном, крестьянском самоуправ-

лении в форме земства он видел выход из создавшегося положения, чтобы противопоставить советскому большевизму идею «народоправства». В своем ответе на обращение Якутского ревкома, предлагавшего сложить оружие без боя, А. Пепеляев писал: «Вы боретесь за диктатуру коммунистической партии, а мы за народ. Вы проповедуете безбожие, а мы стоим за веру. Вы за коммунистический интернационал, а мы — за Родину».

Таково было кредо этого военного профессионала, не политика, но человека, стоявшего гораздо «левее» своего старшего брата. Правда, в конце 1919 года не без воздействия Анатолия стал отходить от своей твердокаменной линии и последний премьер колчаковского правительства, чтобы привлечь массы на свою сторону, спасти антисоветское движение от окончательного разгрома.

В этом номере «Сибири» мы предлагаем не весь дневник А. Пепеляева. Судя по некоторым публикациям, частности по брошюре С. Потапова «Конец пепеляевщины» (Якутск, 1932), начало дневника датировано, видимо, не позднее сентября 1922 года. К сожалению, началом дневника мы не располагаем.

Но и то, что публикуется в настоящем номере «Сибири», представляет интерес для всех, кто изучает и знакомится с последним этапом гражданской войны в Сибири, в частности, на Северо-Востоке нашей страны.

Дневник А. Пепеляева скупо дает сведения об оперативных, тактических и боевых действиях дружины. Его содержание, в основном, отражает смутные, чисто человеческие переживания автора во время «Якутского похода» и отступления. Текст дневника интересен еще и с той точки зрения, что мы видим в лице Пепеляева очень набожного и как будто незлобивого человека, много думающего об оставленной в Харбине семье. Он часто обращается к Богу, его тревожат страшные ночные сны, он их боится, его преследуют непонятные страхи, предчувствия. «Гложет тоска, доводит до апатии, до безысходности... Хочется семью, детей увидеть. Что-то впереди ждет меня?» (Запись от 25 апреля.).

И опять: «Семью жаль. Идеалист я — зачем бросил на произвол? Все что-то ищу, какой-то правды. А они там голодают, может быть. Кто поймет?» (Запись от 21 июня.)

Читая дневник, мы знакомимся с еще одной страницей гражданской войны в Сибири.

Всепожирающий молох классовой борьбы и последующих затем репрессий не разбирал ни правых, ни виноватых.

Дневник публикуется впервые.

Вступительную статью и публикацию дневника подготовили зав. отделом информации, публикации и научного использования документов Государственного архива Иркутской области В. М. Серебренников и член Союза журналистов СССР П. К. Конкин.

Дневник генерал-лейтенанта А. Н. Пепеляева периода «Якутского похода»

6 января — 2 августа 1923 г.

1923 год

Январь

6-е (25 декабря старого стиля)

«Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение» — этими словами и звуками полна душа — полна какой-то непонятной, неизъяснимой грусти. Только что пришел из нашей церкви (Нелькан),* тускло, хотя и по-праздничному освещен храм, кругом беднота, а сколько во всем чувства — как молятся. Может, к лучшему Бог дал людям эти страдания — сколько беспредельной тоски. Как-то все

* Поселок на реке Мае в Аяно-Майском районе.

прошло, как мало было радостей, счастливых минут в жизни моей.

Проблески чего-то непонятного, светлого блеснули в ранней юности, но и погасли так быстро, не успевши разгореться. Снова таким счастьем повеяло от ранних весенних дней [19]12 года, так отдался этому чувству, со всей искренностью. Как верил и ждал... Но и это было ненадолго. Слишком скоро утратил ясность радости. А потом — все перемешалось. Война... Сплошной ужас кошмарный, и дальше эта братоубийственная война. Изгнание — упований дух. Иногда воскресающие надежды. А в прошлом году это известие окончательно убило во мне радость жизни.

Так как-то шло все по инерции. А сейчас так все неясно, запутано на душе, так много чувств самых разнообразных, но жизнеперелом происходит, видимо, и характера и миросозерцания. Тогда очень, очень редко приходит жажда счастья, надежды гаснут быстро и никаких планов нет. Большое безразличие и какая-то тоска небывалая, которая иногда до того доходит, что невыносимо ее переносить. Хочется уйти куда-то от всех, забыть все. Часто наступает чувство желания пострадать. За что? За все! За все! А все-таки каждый день молюсь. Что-то впереди? Страшно смотреть — полная неопределенность, уверенности нет.

Какая-то сила заставляет идти вперед на новые страдания и лишения. Одно сильно во мне — это чувство веры, вот действительно помощь и надежда. Не оставь, Господи, меня, томящегося в скорбях, сомневающегося, слабого, малодушного, если ты послал меня сюда на это служение, дай сил. Боже, помоги, дай возможность с меньшей кровью довершить дело — семью сохрани,— больше для меня ничего не нужно. Родину спаси, дай ей мир, прекрати войну, восстанови братство православной веры, сделай так, Господи, чтобы на будущий год все сердца умиренные с благоговением славили день светлого Рождества твоего в храмах России — «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение».

11—22 января

Еду на Устье-Мили, от Нелькана 450 верст. Еду на оленях, а иногда на страшно заморенных лошадях — тогда, вернее, иду пешком. Сильный мороз — 35—45 градусов. Очень холодно. Надолго останавливаться нельзя. Часто бежим, чтоб согреться 1—2 версты. Дружина небольшими колоннами (100—150 человек) двигается пешим порядком.

Страшно боялся за этот переход, иногда с ужасом думал, что мы все замерзнем. Ведь идти 25 дней, по дороге ни одного селения. Ночуют в палатках, и только я — в станционных постройках, которых на всем пути 4, но вот обгоняю 1-ю, 2-ю, 3-ю колонну,— идут весело, некоторые в пути уже 10—15 дней.

Больных из всей дружины 5 человек (оставляем на станках*) один умер скоропостижно— доброволец Рыбкин, крестьянин 48 лет, не вынесший перехода. Один случайно обморозил руки, и почти у всех обморожены носы, щеки. У некоторых очень сильно, у многих от ходьбы опухли ноги. Теперь 2 колонны пришли, остальные должны подойти.

А питание плохое. 1,5 ф[унта] муки, 1,5 ф[унта] мяса без всякого приварка. По приходе в Устье-Мил[и] нашли 4 больших дома, чему солдаты страшно обрадовались. Наслеги здесь бедные, но население очень сочувственно относится к нам, дает мясо, постановили: «у кого есть 2 коровы — одну отдать». Вообще настроение простонародья исключительно в нашу пользу, отовсюду получаю известия: «ждем с нетерпением, прийдите скорее, накормим всех, отдадим последнее и сами пойдем добровольно, только бы выгнать красных». Часть интеллигенции, после дарования автономии ЯАССР, работает у красных и даже организовала нар[одно]-революционный отряд [из] 50 человек и забрасывает нас воззваниями. Наша интеллигенция не сдается, двое поехали сговариваться на предмет перехода их к нам.

Красные всюду посылают шпионов из местных жителей, но пока все эти «шпионы» переходили к нам и давали нам точные сведения о красных. Только такое отношение и активная помощь народа и дает мне силы для борьбы.

14 января на наших передних партизан бросили отряд «мирной делегации» (40 шт[ыков], 4 пул[емета]), но увидев наших ребят, скрылся, оставив письмо на мое имя с предложением

* Почтовые станции.

добровольно сложить оружие и гарантию нашей неприкосновенности в случае согласия на это.

В это же время другой отряд красных [из] 35 человек шел [к] нашим партизанам в тыл, имея намерение уничтожить их. Выслан[ный] им[и] шпион (якут) оказался нашим. Пришел к нам и рассказал их местонахождение. Наши партизаны сами напали и разбили красных, которые убежали, оставив 10 убитых, 1 раненого, 13 бежало и проч.

Много, много дум зародило во мне это предложение: мир, семья, жизнь! А тут ведь все так кончали повстанцы во все времена.

Четыре причины заставили меня продолжать борьбу и идти почти на верную гибель: 1) веру коммунисты не переносят православную, так постоим до конца за нее, святую, поруганную; 2) народ простой против них, ждет нас, надеется, а я верю только в простой народ (крестьянство). Если и восстановится Россия, то только его простым, но упрямым умом и мозолистыми руками; 3) наглый вызывающий тон коммунистич[еского] письма, полный насмешки, презрения и полный самоуверенности в своей правоте, их хитрость и цинизм; 4) душевные настроения, хочется чашу страданий испить до дна.

Так тяжело на душе, кругом враги, холод, громадные пространства. А все-таки светлый луч веры и надежды живет в душе. Вера в чудо, вера, что сам Господь послал нас на эти страдания и отказаться от них мы не можем. А сколько дум о семье, отрадных, смутных, иногда счастливых, а больше мучительно тоскливых. Сердце щемит и сжимается больно... Что-то будет? И стремимся ли мы и как надо, с каким чувством? Боже, Боже, тебе вручаю семью и себя! Ты знаешь мысли, желания, мольбу мою, ты все можешь сделать для меня, радостную встречу, прощение, прекрати междоусобие, мир пошли измученному русскому народу надолго. Но я слуга и раб твой и говорю — да будет воля твоя, Господи!

26-е

Опять чаще и чаще стали повторяться приступы тоски; такая тоска отчаянная охватывает, охватывает всем, что порой кажется, нет, дальше не в силах переносить. Раньше хоть тосковал о прошлом, прошлое представлялось в каком-то грустно-счастливом, отрадном виде, теперь прошлое рисуется как-то бесконечно уныло, безотрадно, как зимняя длинная дорога...

Раньше мечтал о будущем, строил планы личной жизни и счастья. Теперь и этого нет. Все так туманно. Какие-то небывалые вопросы встают [в] воображении. Ничего не хочется, прошлое жаль какой-то горькой, уныло-печальной жалостью. В душе тлеет что-то, искра какой-то надежды. Да будет воля твоя, Господи.

Господи, Боже великий и всемогущий, справедливый и многомилостивый, спаси Родину, народ русский православный, прекрати братоубийственное кровопролитие, очисти землю русскую, дай мир, отдых земле и людям твоим. Боже, услыши меня грешного, дай силу, волю железную, разума, творить волю Твою научи меня, Боже мой, просвети чистым древом Креста Твоего. Боже, услыши меня, очисти от скверны, дай мир душам, спаси Россию, — яви всему миру в величии и блага Твои.

28-е

Вчера ездил верхом к ушедшему авангарду. Дошел — на 25 — 27 версте. С утра еще встал больным, болела голова, жар. Лошадь попалась тряская, тупая, седло невозможно изломанное — одно дерево. Утром съел кусок лепешки, до вечера устал до изнеможения, и лошадь стала, доехать не удалось. Весь разбитый остановился в лесной избушке. Разболелся совсем. В избушке грязь, семья 15 человек, все голые, голодные, дети кричат и стонут.

Ночью со мной был кошмар, приходила какая-то старуха — ужас какой-то. Но все-таки два раза я ее отогнал от себя, кричал ужасно я и с криком проснулся. Был очень рад, что прогнал старуху. Мне казалось, что это смерть, помолился.

Февраль

3-е

Боже, Господи, спаси и сохрани Родину мою — Сибирь и Россию, скорей, скорей прекрати смуту, междоусобие, помири всех. Вложи в души русских людей любовь и прощение. Очисти землю нашу от зла, дай мир и власть от Господа. Всех, всех убитых, погибших в дни смуты прости, упокой в вечном царствии Твоем, ибо не ведали, что творили мы, люди Твои.

6-е

2 февраля в 5 часов утра штыковой атакой авангарда и партизан взята слобода Амга. Это — стратегический ключ к Якутску. Жители в восторге от добровольцев. В прошлом году повстанцы 3 месяца не могли взять Амгу. Добровольцы взяли после часового боя, идя стройно, без выстрела и по глубокому снегу, под огнем девяти пулеметов, точно на параде. Теперь я спокоен за свою дружину и начальников, сомнения рассеялись. Открываются перспективы на дальнейшее. Омрачают потери: 20 убито, 32 ранено. Как хочется поменьше крови! Ведь мечта моя — помирить русских людей, и веду борьбу исключительно потому, что убежден, что при хозяйничаньи коммунистов народу погибает больше, чем в организ[ованной] борьбе.

Моя мечта — выйти в Сибирь, создать сибирскую национальную народно-революционную армию, освободить Сибирь, собрать всесибирское учредительное народное собрание, передать всю власть представителям народа. И дальше как они решат.

Мои убеждения — я народник, ненавижу реакцию с ее местью, кровью, возвращением к старому, и пока буду во главе вооруженных сил, никогда не допущу старорежимцев.

Власть крестьянства, деревни — вот мой идеал. Воплощение старорусских вечевых начал православия, ополчения национального. Значок Сибирской нац[иональной] нар[одно]-рев[олюционной] армии — бело-зеленый флаг на одной стороне, красная полоса, широкая, по диагонали, на другой — золотой крест-символ: революция заканчивается обращением к Христу, к кресту всей нации и городов Сибири. Братья добровольцы, теперь настало тяжелое время как никогда. Нам нужно братское единение, и символом этого единения пусть явится это знамя. На знамени этом изображен крест. Он будет напоминать нам наш крестный путь, что мы не откажемся нести крест страданий за блага народные. На знамени этом изображен нерукотв[орный] лик спасителя нашего.

В трудные минуты будем молиться на него, Он благословит и укрепит нас. Кто знает, что ждет нас впереди? Может, этим летом мы уедем вовсе из области и станем мирными гражданами. Тогда это знамя будет спрятано у меня и будет ждать того времени, когда вновь разовьется на просторах Сибири и вновь соберет нас всех под сень свою.

Может, нам вновь суждено пережить бои, когда это знамя будет развеваться там, где бойцы будут усталы, где будет трудно...

Братья добровольцы, вы спасли это знамя вашей кровью, кровью павших братьев, которые незримо присутствуют здесь. Так пусть же освятит его и святая вода Божья, пусть она сделает из этого стяга святыню, за которую, если будет нужно, и жизнь свою отдадим мы. Брат доброволец Березкин! Вручаю тебе знамя Сибирской добровольческой дружины, нашу святыню. Храни его и никогда не отдавай врагу.

Апрель

25-е

Сколько тягости и грустных переживаний. Часто думаю о былом. Вся жизнь вспоминается: молодость, мечта, какие-то светлые надежды... Все разбито... Боже, как изменился я, личная жизнь пуста, не манит блеском огоньков, ярко ласкающих, как раньше бывало.

Еще в германскую войну, в гражданскую все мысли мои о личной жизни сводились к вопросу — любить ли жизнь, людей. Так идеализировал свое отношение к жизни. Теперь

все не то: горечь несбывшейся мечты, глубокая жалость. Ни злобы, ни вражды. Чувство бесконечной жалости и безысходной тоски. Вот главные мои переживания.

Надежд нет, на будущее не строю я радужных планов, как раньше бывало. Пошлость жизни везде, во всем, она забралась в «святое святых» души моей. Гложет тоска, доводит до апатии, до безвыходности.

Счастья нет для меня и его не будет, это нужно сказать раз [и] навсегда. Я это чувствовал, терзался, мучился, доходило до исступления несколько месяцев тому назад, теперь же говорю спокойно. Только долг — как он силен во мне. Его я исполню во всяком случае. Хочется семью, детей увидеть; что-то впереди ждет меня? Да и вырвемся ли мы отсюда? Ведь, в сущности, мы окружены врагами и с моря, и с суши.

На маленьком клочке земли ничтожная горсточка непокорных людей среди бушующего океана народных страданий не опустила своего знамени. Оно, освященное Богом и кровью братьев наших, гордо и свободно развевается над нами, и сам Христос благословляет с него нас, измученных, но сильных сознанием своей правоты.

Май

3-е

Снова поход, палатка, снег, тяжелые переходы, боль от усталости в ногах. Идем в Аян...

Иногда снятся сны, совершенно ничего общего не имеющие с действительностью. Что-то светлое, юношески чистое, как будто вновь переживаешь во сне лучезарную, бесконечно далекую [пору] безвозвратного милого прошлого. Какое-то лучезарное чувство, молодое, полное жизни и счастья. Душа вся рвется ему навстречу. Тем грустнее пробуждение. Вот и сегодня видел такой сон. Все время снилась К. Какая-то счастливая, с чистым открытым лицом, с глазами, полными любви, такая нежная, но полная сил и жизни. В белом платье... такая вся белая, чистая, я все смотрел, смотрел, и сердце наполнилось любовью и какой-то радостью. Чем-то милым, каким-то давно забытым чувством повеяло... счастьем.

Проснулся в 5 часов. Грустно, грустно. Утренник, предстоит поход, через час снимут палатки и мы будем снова шагать по бесконечной зимней дороге якутской тайги.

27-е

Вчера был у всенощной на празднике Троицы в Аянской церкви. Церковь маленькая, но внутри просторная, с хорами, хотя очень старая (около 70 лет) и бедно убранная. Священник служит очень хорошо, имеет хороший мягкий голос и с чувством говорит. Хор наш дружинный, хотя и потерявший в боях около 10 человек (теперь всего 18) поет отлично. Прекрасно спелся, поет с большим умением, отменное исполнение. Вряд ли здесь пел когда-нибудь такой хор. Есть очень хорошие голоса, но из всех выделяется наш 1-й тенор, корнет Седов, — это чудный, высокий, чистый, такой свежий голос — украшение хора.

Вчера утром была панихида по убитым добровольцам. Прошла хорошо, с большим настроением. Горячо молились добровольцы — все придавало грустный, мрачный, но в то же время какой-то торжественный вид. Лица худые, изнуренные, бледные, со строгими блестящими глазами, с оборванной одеждой и испорченной обувью. Стоят смирно, не шевелятся, только иногда медленно крестятся. Грустно, грустно, и в то же время чувство какого-то восторга, отрешения от всего мелкого охватывает душу. Кругом видишь людей, отдавших все для других, оставивших семьи, кинувшихся навстречу жизни, полной лишений, перенесших без ропота холод, голод, суровые дни жестоких боев, теперь одиноких, заброшенных на малый клочок земли, в какой-то Аян, окруженный все сжимающимся кольцом злобных врагов. Эти люди достойны восхищения. Это поистине герои, которыми движется жизнь, которыми создается Родина и которые кровью пишут историю.

Героизм и самоотречение — это то безумство храбрых, которое когда-то воспевал Горький. Правы или не правы — скажет история, но были искренни, бескорыстны, шли с

любовью к народу, готовые отдать жизнь свою за счастье народное. Свобода, равенство, братство, освященное любовью Христа и верой в высокое призвание народа русского — вот что нас вело на борьбу.

Июнь

3-е

Через 3 — 4 недели можно ждать парохода. У всех одна мысль: кто придет раньше: большевистское судно с десантом, или японское военное судно, или какое-нибудь иностранное. В последних двух случаях есть надежда на эвакуацию, если не всех, то хотя бы раненых и больных, которых у нас 50 человек, не способных к походу.

Строим лодки, кунгасы морского типа, в случае прихода красных поедем на Чум[икан]. Все мобилизовано для работ по постройке лодок. С раннего утра стучат топоры на месте построек, молоты в кузнице, скрипят стальные подпилки, дымятся трубы в смолокуренных котлах.

Около 70 человек работает специалистов и ежедневно до 200 человек вспомогательных рабочих по подноске досок, рубке леса, заготовке угля, дров и смолы и т. д.

Все же мало у меня надежды на быстрое устройство лодок. Нет нужных инструментов, сырой лес, мало времени. Полагаю, что будет к 1 июня готово не более 5 кунгасов. Это для 100 человек, а 300 должны будут идти пешком. Я не верю в приход иностранных пароходов, безусловно раньше придут красные. А потому принимаем все меры для подготовки летнего похода. Путь предстоит большой, больше того, что сделали, пойдем по территории, занятой врагом. Но все же я надеюсь, что с Божьей помощью как-нибудь выйдем.

Беспокоит меня продовольственный вопрос. Осталось муки только до 20 июня по 3/4 ф[унта] в день, мяса еще меньше, а там полный голод. Заботят мысли о семье. Хотя бы удалось хоть кого-нибудь послать с весточкой о себе.

Как-то дома, как переживает семья, трудно поди. Хоть бы не бедствовали. Но имеется еще огонек веры в добро жизни, мерцает и не тонет во тьме. Порой совсем темно, но иногда разгорается.

18-е

Наконец-то и у нас настали чисто весенние дни. Яркое солнце и зеленеющая трава. Только огромные льды на море и напоминают собой только что отошедшую мрачную зиму. Весь день [по] 8 — 9 — 10 ч[асов] идут спешные работы по постройке морских лодок — единственной нашей надежды на уход от красных. Работают все, начиная с меня и кончая последним солдатом. Дни летят быстро. Чувствуешь себя, как приговоренный к казни, которая неуклонно приближается. Сегодня из перехваченного радио узнали, что из Владивостока отправляется пароход в Якутск* 12 июня, значит, его в Охотске ожидать числа 20, а у нас 22 — 25 [числа]. Успеем ли уехать? Что-то нас ожидает в ближайшем будущем, неужели смерть? Так возможно. Или полный голод в тайге?

Весна. Сегодня ночью вышел на улицу, на горах, в лесу птички поют. Все дышит весной и пробуждением к жизни, природа воскрешает. Куда все ушло, где же ты, моя весна? Ты так прошла быстро и так мало дарила меня лучами своего счастья. Все больше страданий, гроз и бурь. А душа хочет нежности. Боже!

18-е

В ночь на 18 июня был неожиданно атакован красным отрядом силой 500 — 550 штыков.** Атака отряда вышла впустую, взяли в плен только часть 3-й роты, и группа красных подбежала к моему дому. Я со штабом успел одеться, взять и зарядить оружие и хотел пробиваться к комендантской команде (28 человек), которая рассыпалась уже на горке, готовясь выручать меня. Я услышал го-

---

* Так в тексте.

** В действительности было 468 штыков.

лос полковника Варгасова и нач[альника] отряда и как-то сразу решил не сопротивляться. Борьба уже закончена еще в Петро-Павловском районе.

В Аян шел исключительно, чтобы вывести дружину в полосу отчуждения.* Цель — сохранить жизни остатков борцов за свободу. Только из-за этой цели не стоило давать бой. Он был бы жесток и не достиг бы ничего. Будь что будет. Приказал сложить оружие.

19 — 20-е

Обращение хорошее. Оскорблений нет. Люди порядочные. Я рад, что не пришлось [проливать] крови. О себе не боюсь. На все воля Бога. Если будет судить власть народная — она поймет мои стремления к добру и истине — она простит, оправдает: тогда все силы отдам народу.

Буду работать. Если же не поймут, значит, недороги власти честные люди — пусть смерть, убьют тело, душу же и идею не убьют, они бессмертны. Я шел по зову народа, за народ, против жестокостей и бесчинств власти 1921 года. Я шел во имя добра народа, нес освобождение. Если теперь не то, слава Богу! Для меня все равно, кто у власти, лишь бы народу жилось хорошо и Россия шла к добру и свободе и была сильна. Да будет воля Твоя!

21-е

Семью жаль. Идеалист я — зачем бросил на произвол? Все что-то ищу, какой-то правды. А они там голодают, может быть. А кто поймет? Красный командир сказал, что у меня было 5 мил[лионов] золота, а у меня оказалось всего в дружине 5 т[ысяч] м[онет] серебром. Никогда не брал ни копейки чужой. Тяжело — один. Смутно на душе.

* Имеется в виду территория КВЖД.

26-е

Масса душевных переживаний. Душевный кризис. Все переоцениваю, но правда и истина вечны. Если то благо народное, во имя которого я боролся, осуществлено или осуществляется другими, я все силы жизни отдам ему для служения новой России. Если нет, если царствует зло и неправда, никакими силами не заставит меня признать эту власть, писать больше не буду. Впереди полная неизвестность. Да, я был прав. Всюду вижу мир; злоба, борьба, ненависть утихли из кошмарных лет гражданской войны, народ вышел на твердый путь восстановления страны. Боже! Но почему же Куликовский, этот старый народник-революционер, не оценил положения? А мы, мы бросились в объятия опасности, как дон-Кихоты мы боролись с ветряными мельницами. Роковая ошибка, за которую я поплачусь.

Как тяжело умирать, когда столько дела кругом. Движимые лишь чувством самопожертвования, мы совершенно не понимаем положения, как впотьмах, там шли спасать народ, а он спас себя сам, и судить нас будет тот народ, [во] имя каждого и за который шли мы. Поймут ли меня?

Август

2-е

Один зак[люченный]. Чита. ГПУ. Мучаюсь, томлюсь, что-то будет. Жаль семью. Ведь бросил все дорогое. Во имя чего? Видел сон, два сна, как мне кажется, вещих. Первый несколько дней назад. Ночью тяжело заснул, настрадавшись за день. Будто смерть идет, но вдруг мама появляется и благословляет меня иконой, как-то легко стало.

Второй сон. Будто земля подо мной расступается, какая-то яма, и я ухожу все глубже и глубже. Вот ноги ушли, туловище, ушел до плеч, но руки лежат еще на твердой почве, земля качается. Вот-вот провалюсь, ужас овладевает мной. Я кричу и просыпаюсь. Не утонул, не провалился. Вещий ли сон?



Анатолий Байбородин

КУПАВА

ПОВЕСТЬ

* * *

— Вот так бы всюю-то жизненку прожить... — потянувшись в истоме, вслух подумала она.
— Избушечка бы где-нибудь вот тут, возле боярки, и мы одни...

— И свету нет,— продолжил Иван смехом,— значит, спать рано ложимся — ребятишек у нас, как мать говорила, два на году, один на покрову.

— В таком месте, да ежли с любовью, такие бы красивые ребята нарожались, здоровые...

— А кто бы их кормил, одевал?!

— Беда много им надо. Рыбачили бы все, куда-нибудь в рыбкооп сдавали рыбу. А тут и ягоды, грибы. Картошки б насадили. Да не пропали бы... А зимой бы возле печки сидели, сказки читали. Шили бы, вязали...

Иван громко зевнул — такой скукой повеяло от Груниной неприхотливой блажи, таким краем жизни, что он, лишь приступающий к ней, кисло сморщился и закрыл глаза. Тут и Груня прижала язычок; стала, опершись на локти, разглядывать его запрокинутое, отрешенное лицо; что-то очень нужное себе никак не могла уловить — оно ускользало, укрывалось холодноватой тенью; и от того, что лицо, выдавая затаенное, не полностью было открыто, она, как и раньше, опять встревожилась. Потаенная часть лица — потаенный край души — жила своей, далекой от нее жизнью; и потаенность, поделенность лица со временем, лечащим и калечащим, разобщили и сами видные черты, сотворили их вроде как чужими друг другу: казалось, к вялому и простоватому подбородку, к пухлым, почти девьим губам, часто ползущим в блажной улыбке, силком прилепили верх, где высокий лоб морошно рыхлили две глубокие поперечные морщины, утекающие к переносице и не пропадающие даже при смехе; а из морщин, наползая лохмами на глаза, росли густые брови, глаза из-под которых часто смотрели невидяще, обращенные в свое, неизбывное, печально неразрешимое. Близких, как и Груню, обижало, когда они, положим, говорили что-то сокровенное или потешное, похожее на байку, и вдруг натыкались своим взглядом на Иванов, равнодушный и отсутствующий. Иногда глаза его вроде и по своему ведому, без всякого явного повода, смотрели на человека — пусть даже и любящего и даже любимого — с огрузлой ненавистью, а толстые губы между тем простовато расползались в улыбке, и с них слетали частые, приветные слова... Он и сам в себе это ненавидел, страдал через это, но ничего поделать с собой пока еще не мог, точно тут он уже был невластен. Хотя, сказать, и усилий-то больших не прилагал.

Разрозненность лицу добавлял и нос, уродливо большой, с двумя чуть приметными горбинками и заостренный на кон-

---

* Окончание. Начало см. «Сибирь» № 5, 1990.

це, который казался и вовсе не родней лицу, и вовсе казался случайным гостем тут, какой вот-вот, пожалуй, и отчалит к более подходящему лицу. Вот Груня и разглядывала его в упор, пробовала слепить черты в одно нерушимое, может быть, даже счастливо придуманное ею, чтобы пригасить сосущую тревогу; но, как ни щурилась, как ни тужила темные, заостренные глаза, лицо не скреплялось, не сливалось в одно, родное и любимое,— а чем пристальней она смотрела, все больше и больше распадалось; и чуяла она пробужденным бабьим чутьем немалую себе в том кручину. Замечая и раньше потаенную раздвоенность, тешила себя: дескать, от нелегкой жизни, поди, от того, что много бедовал, пока выучился,— помогать было некому, что возьмешь со старых родителей, если отец к тому же попивал,— от того, что много думал и переживал, поскольку нелегка деревенскому парню книжная наука. Все на своем горбу, до всего своим умом дошел — вот, поди, и огрузла память, а вместе с нею и взгляд. Успокоив себя такими шаткими, сказать, доводами, старалась побольше жалеть его, чтобы как-то, переборов скорбное, путаное и непроглядное знание, душа его здесь, на озере, полегчала, отмякла и осветлела, счастливо приняла божий мир. Тем и утешалась.

Но сейчас вот опять смутился ее покой; так уж ладно начался для них этот день — почти что семейный, и так хотелось, чтобы он был совершенно ясным и понятным, чтобы, свиваясь с другими днями, сплел для нее далеко видную, будто среди ромашкового поля, тихую дорожку. Впрочем, помыслы в той дорожке, по какой бы идти им терпеливо, с любовью и божьим покровом,— помыслы эти лежали в ней глубоко, и она смущенно, бережно касалась их лишь изредка, оставшись один на один с собой.

Ивану стало неуютно лежать под таким пристальным взглядом — точно Груня напоследок хотела хорошенько разглядеть его, понять, а потом уж хоть головой в озеро,— он сильнее прижмурился, пошевелил губами, будто уже спит или засыпает. Тогда она прохладной, вздрагивающей ладонью ласково и боязливо разгладила морщины на его лбу — они, конечно, тут же вновь насеклись; потом она сдвинула назад тяжелые волосы и как-то летуче поцеловала в глаза. Короткой, обжигающей болью отозвался в нем поцелуй, вроде не девичий, а материнский; болью шевельнулись слитые вместе и жалость к Груне, и стыд за себя, но тут же все и рассеялось. Чтобы не переживать ни о чем, он распахнул невинные глаза, с грубоватой игривостью потащил ее к себе на грудь, но девушка, опять наткнувшись на его недвижный, отсутствующий взгляд, уперлась и не поддавалась.

— Интересно, вот скажи честно: много у тебя в городе было девушек? — вроде из праздного любопытства, будто между делом спросила Груня и настороженно замерла.

— Навалом! — Иван, зная цену такому вроде как праздному любопытству, решил подразнить, пощекотать Грунины нервы.— Выйду я, бывало, в коридор после лекции, а девок-то, мама родна, хоть пруд пруди. Да все девочки я те дам, холеные, нарядные. Полстипендии бы не пожалел. Думаешь, они там шибко надсажаются, литературу изучают русскую? Ага, держи карман шире. Папа с мамой пихнули... Нет, конечно, были и умные. Встречались... Но эти-то еще похлестче, эти такое выкомаривали от ума, сказать, не поверишь.

— Что-то больно уж ты зло их костеришь.

— Да нет, это я шутя-любя... Ну и вот, значит, иду я по коридору, девки стоят, а юбки, сама понимаешь, вот по сюда,— он чиркнул ладонью по своим ногам, да так высоко, что и греха такой юбкой не покроешь.— А девочки...— он закатил глаза, сладко поцокал языком и тут же приметил, что Груня села на разостланном брезентовом плаще и, уткнув подбородок в заостренные коленки, хмуро смотрит перед собой и вроде не слушает; надо было замолчать, не истязать ее, но бес уж вселился, тянул за язык.— Иду я это, значит, по коридору, а они так и валятся, так и валятся налево и направо. Ну, подберешь одну, которая покрасивше...

IX

Пока язык его нес околесицу, городил огороды, память насмешливо ясно подсу-

нула заправдашнюю студенческую жизнь, бездомную, голодную-холодную, с едва прикрытой голью, — когда вечно хотелось есть, а нужно было сломя голову бежать на зачеты и экзамены; когда изъедала душу зависть к ловким в городской жизни, сытым и нарядным сокурсникам, с их гульбой по дачам и квартирам, с их вечной куплей и продажей; когда, унижаясь и робея, старался затесаться в их гульбища-сборища, куда тебя, как в калашный ряд с мужичьим рылом, пускали неохотно; когда со страхом и свирепой страстью глазел на девиц, разодетых в пух и прах, избалованных, изнеженных, с ненавистью понимая, что не видать тебе их, как своих ушей; когда, стесняясь деревенской шершавости и скудной надевы, забирался в темные, глухие коридорные углы и, презрительно глядя из этих углов, тешил себя насильственной мыслью, что ведь ты-то умнее, способнее всех этих ловкачей, папиных и маминых сынков, что и на твоей улице взыграет праздник — роман сочинишь, и все эти бойкие ребята, раскормленные индюшки еще локти будут кусать, читая тебя, и костерить себя будут поносными словами за то, что смотрели на тебя сквозь пальцы; эта надежда, злая, мстительная, тут же выстужалась — нет, никто не будет себе локти кусать, нужен ты им сто лет, да и ничего такого и не свершишь, никаких таких романов, чтоб все ахнули, сроду не напишешь, потому, хотя бы, что завидуешь этой шатии — значит, мелко плаваешь, как говорил отец, вся холка наголе.

* * *

— Выберешь, значит, цоп за бок, и в ресторан ее,— молол он языком, как жерновом, еще не чуя, что помол выходит больно грубый.— Принял там для храбрости, и прямиком на хату...

Груня понимала, что заливает в три ручья, зубы моет, а все одно ревность уже глаза застила.

— Нет, Ваня, серьезно,— через силу улыбнулась она.

— Серьезно? — вздохнул Иван.— Серьезно, говоришь... Да кому я нужен, купавушка ты моя. Кто на меня такого страшного позарится?!

Ивану хотелось, чтобы она сказала поперек: мол, нет, нет, не страшный, даже наоборот, но Груня, не почуяв скрытого желания, приобидев его, невесело отозвалась:

— Бывают такие страхолюдные, а такие мастера девкам мозги конопатить. Мигом окрутят... Да ладно, что там старое поминать — я не ревнивая. Только жалко девок бедных.

— Сразу уж и бедных,— огрызнулся Иван.— Есть такие, Груня, бедные, что и палец в рот не клади, мигом оттяпают и скажут, так и было.

— Но они такими тоже не сразу стали. Бросил какой-нибудь...

— Это тоже не оправдание.

— Да, не оправдание, конечно. Такое ничем не оправдаешь. Но все равно жалко. И вы, мужики, во всем виноваты.

— Может быть...— вдруг согласно и мрачно покачал головой Иван.— Скорее всего, так и есть. Вот у нас случай был... Хочешь, расскажу?

Груня равнодушно пожала плечами, отчего Иван заколебался, но уже болезненно, с жестокой, лукавой усладой хотелось рассказать, чтобы вроде и ее приобщить, чтобы и она коснулась мрака.

— Дружочек у меня был, из городских, но все в общаге ошивался. Звали Радиком... Да и не дружочек, так, выпивали вместе. Красивый парень был, будто сошел с иконки—черный такой, кудрявый, глаза большие... Девки наши с ума сходили. И все за ним одна хлестала, тоже бравенькая такая, беленькая, а волосы ниже пояса...

— Ты, поди, тоже за ней увивался,— поскучневшим, линялым голосом прибавила Груня.

— Да нет,— чуть дрогнув, стрельнув глазами в сторону, отозвался он, потом тверже досказал: — Куда уж нам уж щи хлебать лаптем... Но не в том дело. Ты слушай... И вот она, значит, нашему Радику проходу не давала, так за ним и шила, как нитка за иголкой. Он частенько у нас ночевать оставался. Ну и он тут же к нему. А нас в комнате тогда четверо жило, и он с ней вроде пятый. Лампочки выкрутят...

— Зачем ты мне эти гадости рассказываешь?! Думаешь, мне интересно.

— А что такого?! — хмыкнул Иван, выпучив глаза.— Это жизнь. Ты что же.

думаешь, проживешь, и ни о чем не узнаешь? Это жизнь...

— Да какая это жизнь.

— Какая бы ни была поганая, грязная, а это жизнь, и мы должны про нее знать.

— Зачем?!

— А хотя бы затем, чтобы ее не стало... Да это еще что, это еще мелочи, что я тебе рассказал. А вот как, бывало, враз приведут в комнату трех девиц, вот это жизнь. А ты... Утром просыпаешься, в комнате накурено, не продохнуть. Воздух кислый, сивухой пахнет, а по полу девичье белье веером размечено. Помню, у нас паренек был шибко серьезный — не пил, не курил, с девушками тоже не водился, все ученые книги читал. Вот он утром встанет, раздвинет ногами бельишко, распинает пустые бутылки и приседает до упаду — зарядку делал. А в комнате дышать нечем — кислятина сплошная, а форточку не открывает — простыть боится. Вот и приседает.

— И что же он не мог прекратить все это ваше...

— Хорошо сказала — прекратить... Да он слова поперек не говорил.

— Боялся?

— Да не то чтобы боялся... Зачем ему это?! Он парень культурный — слушал классическую музыку, он так понимал, что чернь по-другому развлекаться не умеет. И никогда не сумеет. Вот и поглядывал на все с улыбкой.

— А Радик — тоже чернь.

— Нет, Радик, не чернь. Кстати, они с этим парнем братаны были. Даже походили друг на друга, оба таки чернявы. Нет, Радик у нас в гениях ходил: стихи пописывал, рассказики строчил под Булгакова и поразвлечься успевал.

— У вас там все такие были?

— Какие?

— Ну, которые водили по ночам...

— Зачем?! Это уж кто изловчится, у кого в кармане брякало.

— Ты тоже водил?

— Ну, зачем так? — занервничал Иван.— Я, конечно, не ангел...

— Ладно, ладно,— она виновато погладила его по плечу.— Мне все равно, что у тебя раньше было.

— Да ничего такого особого и не было. Больше пили... Ну, ты слушай. Короче, все у них поначалу красиво было — это я про Радика с девицей,— такая любовь, что закачаешься. На лекциях целовались-обнимались. А потом пашла коса на камень. Надоела она ему хуже горькой редьки. У него там другие появились... Да и опять же не жениться — только учиться начал.

— Во-во, гулять-то все мастера, а как жениться — сразу в кусты.

— Ну, не все, поди. А потом, если сами лезут. Они вон за Радика чуть за космы друг друга не таскали. Соберутся, бывало, у нас в общаге — винцо, свечки горят, и он им заливает: где стишок ввернет, где на гитаре побренчит или анекдот затравит, девки сидят, рот разинув, аж не дышат, глаз с него не сводят. А то еще поплачется какой в подол: дескать, такой он несчастный-разнесчастный, никто его, бедного, не понимает. Вот и, глядишь, иная пожалеет и поймет.

— Ло-овко,— покачала головой Груня.

— Ну и вот, значит, прилипла эта девочка к Радику и не отстает. Бывало, придет в нашу комнату — он тогда от нас уже не выводился, нелегально жил, потому что в общаге весело; придет, значит, а его, как всегда, нет, он с другой какой-нибудь на черной лестнице стоит. Но и что ей делать, ждет его, все рубашки ему перестирает, ужин сгоношит. А он под утро явится... Мы уж даже начали жалеть ее, отговаривать. Ее, такую бравую, и жалеть-то приятно было. Другую бы, может, и не пожалели, обозвали всяко про себя... Мы уже и Радику сколько говорили, чтоб не мучал девку, а тот посмеивается: дескать, кто ее, дуру, заставляет мучаться. Надоела, говорит... И ведь все она знала: знала, что у него другие есть, знала, что нужна ему как собаке пятая нога, а все равно ходила. А он что, когда убежит, когда примет из милости, если никого нету под рукой. Помню, уже всяко ее обзывал, издевался, а той хоть бы что: поплачет, поплачет да снова на него стирает, кормит его, поит, а ночью снова лезет. Уж и стесняться перестала, на нас уже и вниманья не обращала. Как сдурела девка. И главно что, девчонка-то красивая была. Сколько парней вокруг нее увивалось. Следы бы целовали, пушинки сдували, как мать моя говорит, так нет, Радика ей подавай, больше ей никто не нужен. Он у

нее, видно, первый был... И вот, значит, пришла ему хитрая мыслишка. Как-то набрал он винца, пришел в общагу и загулял с одним своим дружком — у того как раз комната была пустая, все куда-то поразъехались. Ну и, подругу, конечно, позвал. Вот гужевались они, гужевались, и так бедную девку напоили, что та еле языком ворочала. Радик опять в магазин сорвался, а дружок остался. А парень был тоже хват, своего не упустит, и давно уж на эту девицу зарился, клинья бил. И только, это, Радик убежал, он дверь на ключ. А та лежит пьяней вина, хоть выжимай — так что дешево досталась. А в самый разгар Радик открывает комнату своим ключом, видит такую картину, и все — развод по-итальянски. Она, конечно, очухалась, завыла, кинулась к Радику, да не тут-то было. Обозвал он ее кошкой драной, и дверью хлоп, только и видали... Вот она с тех пор и ударилась в гульбу...

* * *

Уже с середины рассказа Грунины глаза стали испуганно расти, темнеть от боли.

— Ох и гады же вы, ох и гады! — она вскочила на ноги, и, будь здесь Радик, она бы, наверно, глаза ему повыцарапала.— И как он мог! как он мог! Она бы потом и сама отстала, но зачем же так-то?! Зачем, зачем? — глаза ее помутились от слез.

Иван, не ожидавший такого крутого оборота, подозрительно скосился на нее — не приставляется ли?.. но Груня уже плакала, увалившись на брезентовый плащ, и плакала так горько, как если бы она и была той девушкой, пьяно распятой на общагской койке; и тогда Иван стал неловко успокаивать ее, вжимая тряские, измельчавшие плечи в свою грудь; и в нем самом, оттаяв застарелым, посеревшим ледком, копились слезы, давили на глаза. Заплакать бы, заплакать, чтобы внешними слезами унесло из души накопленный сумрак, чтобы вольно вздохнуть и укрепиться на будущую жизнь, какая еще вроде только начиналась; но слезы — не в наказанье ли?.. — слезы уже покинули его, и чем горше бывало на душе, чем стыднее, тем больнее морщилось, ссыхалось нутро. Слезы его, кажется, выплакались до самого донышка, остались на давнем, приозерном берегу, от которого отчалило однажды детство и укрылось туманом, чтобы, дай-то Бог, загнув жизненную дугу, сомкнуться, нарodившись в старости.

— Успокойся, миленькая ты моя, успокойся,— гладил он по Груниным волосам, по нервно вздрагивающей, сгорбленной спине, где так по-девчоночьи жалко и беззащитно проступили позвонки.— Не плачь, не плачь. В жизни много всякой всячины творится, если обо всем плакать, слезы лить, так и ослепнуть можно, глаза повыплакать. Ну, хватит, хватит, не плачь...— а пробуженный в нем тайный голосок гнусаво дразнил: поплачь — дам калач, завой — дам другой; и, как обычно, Иван большим усилием, даже зло, тряхнув головой, приглушил в себе гнусавый голосок; он затих, но не пропал вовсе, едкой горечью растворившись в Ивановой сути.— Не плачь, миленькая, не плачь. Какое тебе дело до них, пропади они все пропадом. Его потом все равно Бог наказал: мужик прихватил со своей бабой и чуть было не зарезал — шрам вот такой на все лицо остался. Страшно смотреть. А такой красавец был. А потом еще и запиваться начал. Так что тоже, бедного, Бог наказал... прямо на земле...

Против воли остановившись, проговорив в себе еще раз — Бог наказал прямо на земле — слова сказанные беспамятно, впопыхах, Иван вдруг, как в морошную, студеную ночь, уперся в жуткий вопрос: Господи ты мой милостливый, а если бы и впрямь тут же на земле наказывались грехи наши, то как же он-то... как же ему-то все сходит с рук? Или потом, еще успеется?.. А уж есть за что, есть. У всех-то, поди, хватает, все-то, поди, в грехах как в шелках, только многие не видят того, многие уже ничего и грехом не называют — забавы, игрища. Это еще пожилые, старухи — те еще грех понимают, а другие... Все-то, поди, с грехом живут, а уж тут,— он подумал про себя, весь передернувшись,— тут уже не грехи, тут уж пороки. Тут бы, однако, шрамом одним не отделался, тут бы...— полуразмытым, поникшим лицом, с выплаканными, темно и могильно запавшими глазами встали и ушли в сумрак забытые и по-

лузабытые и совсем незнакомые девьи лица.— Но потом, видно. Потом...— ехидно оскалилось безгубым ртом ожидание; но ведь нет ничего страшнее ожидания — вот уж воистину кара небесная! — и это даже в драке простой: пусть бы тебя сразу, неожиданно сбили, стоптали, убили, только бы не ожидание удара и страшной боли, когда все тело наливается жарким страхом, от которого тают, как воск, тряские колени, а в глотке твоей, словно пойманная птица, плещется вопль, и сами по себе быстро копятся в обезумевшей голове быстрые и униженные слова, и ты готов, готов пойти на все, лишь бы не били, лишь бы не убили!.. Страшно все это, а Божье наказанье — это, поди, не уличная драка, это, однако, пострашней...

«Та-а-а, ерунда все на постном масле! — злобным усилием срезал он все переживания.— Наказание... Тьфу! Как старуха богомольная расплакался. Вот так нашего брата наказаньем и прижимают, так из нас и делают безропотных. Все! Не надо об этом думать. Надо просто жить и меньше думать...»

— А ты откуда все это знаешь? — знобко передергиваясь всем телом, утоленно всхлипывая и вздыхая, Груня вдруг, точно озарившись, пытливо всмотрелась в Ивана; и тут же увидела, как полыхнули огнем Ивановы уши, как, не утерпев приливающего к ним саднящего жара, он подергал за мочки ушей. Спросила она с таким проникающим напором, что окажись человек и ни в чем не повинный, но тут же почуявший, что смог бы, смог бы, что уж греха таить,— и такой бы с ходу не смог оправдаться, или оправдание прозвучало бы мято и шатко. Иван же, быстро одолев растерянность, холодно и грузно посмотрел на свою подругу.

— Ты что же, дорогая, думаешь, что я был с Радиком, когда...

Он не договорил, резко поднялся на ноги и, не оборачиваясь, широким, обиженно твердым шагом пошел по гребню песчаной осыпи, как если бы уходил насовсем, со всего пылу хлопнув дверью. Уже за кустами, перед распахнувшимся озером, девушка догнала его, повисла на шее, молча, покаянно заглядывая в глаза и боясь даже попросить прощения.

X

После полудня, словно перед непогожьем, навалилась вязкая духота. Искупавшись, позагорав, они снова уползли в боярковую тень, где Иван стал дымокурить прямо в зелень, улепленную паутиной, отгоняя падающую с куста мошку; Груня же пробовала сплести венок из белых ромашек, вплетая в них синеватые кукушкины чирки, но стебли цветов ломались, и венок рассыпался; но она снова вила цветы, при этом тянула, похоже, и не слыша слов и даже забыв о том, что припевает:

Срони-ила колечко-о со правой-ой руки-и,
Заби-ило-ось сердечко-о о-о мило-ом
дружке-е...

— Но, завела заупокойную,— покосился на нее Иван.— Может, того, еще купнемся да поедем порыбачим. К вечеру, под самый закат, рыба еще должна потянуть. Глядишь, еще пару ведер надергаем. Пойдем,— он выбросил сигарету ловким щелчком, хотел подняться, но Груня вдруг обняла его и то ли смехом, то ли взаправду прошептала прямо в лицо, обдав жарким дыханием:

— Бросишь меня...— чудилось, откуда-то из озерной дали навеивается шепот, а может, из озерной глуби, хотя Груня так низко склонилась к лежащему Ивану, что ее пушистые после купанья, долгие волосы покрыли его лицо душистым балаганом, и сильно хотелось смахнуть, сдуть их с лица,— бросишь меня, сразу утоплюсь! — и она засмеялась ломким, нарошечным смехом, какой мог бы показаться и плачем.— А-а-а, испугался?

— Только зимой не топись — горло простудишь.

— Летом, конечно, лучше.

— Конечно, лучше. Но если утонешь, лучше домой не приходи — выпорю. Понятно? Это у нас тетя Варя Семкина ребятишкам орала, когда мы купаться ходили... Но-но, значит, в русалки решила записаться.

— А что, буду вечерами выходить из озера, сидеть на песочке, песни петь, тебя звать...

— Красиво. Больно уж красиво получается,так и тянет плюнуть, как на чистый пол.

— А как приведешь ты дуру крашеную...

— Ну, почему же сразу дуру, да еще и крашеную?!

— Приведешь ты ее на берег и будешь говорить, что уже мне говорил...— начала она вроде и смехом, но тут же и распалилась.— И тогда я на вас такую бурю напущу, что вас смоет обоих.

— Ишь ты какая сердитая. Да и я-то не дурак. Чего я буду шляться по всяким берегам, я уже лучше в городской квартирке,— стал он привычно подразнивать свою подружечку.— Будем попивать с ней винцо с хлебцем, музыку заведем...

Он тут же узрел эту уютную квартирку с мягкими креслами на колесиках, с низеньким столиком, на котором взблескивает пузатенькая, темная бутылка, и тут же услышал будто наплывающую с потерянного в сумраке потолка, обволакивающую музыку; забренчали высокие фужеры с желтоватым вином, властно и насмешливо глянула на него хозяйка, поправляя халат на полуголой груди, в ложбине которой чернел покрытый лаком амулет, похожий на волчий клык; ясно все увиделось, услышалось Ивану, коль еще в начале лета вечерами напролет высиживал в тех самых креслах возле не по летам располневшей крали. Вспомнилось все, и противно стало.

— А я бы и там тебя нашла...— уже истончавшим, срывистым голосом уверила она.

Иван представил, как Груня встречается с той, городской, неизвестной ей, которой он бросил и писать; представил, как она с равнодушной усмешкой глядит на Груню сквозь очки и сигаретный дымок, и тут же проступило в жарком воздухе что-то серое, скандальное, и, чтобы сразу же, пока не сбито настроение, забыть увиденное, покрепче обнял свою купавушку и зарылся лицом в пересохших, как осенняя трава, пахнущих озером, отмякших волосах.

— Миленькая ты моя,— зашептал он,— да не принимай ты все близко к сердцу. Я же просто языком трепал. И что это мы друг друга мучаем? Так же хорошо кругом... А ты бы поехала со мной в город?

— Нет, я в городе жить не умею. И не могу. Маета одна... А тебе и здесь работать можно — хоть в школе, хоть в редакции.

— Засосет деревня. Одичаешь.

— Живут же люди, не дичают. Там, в вашем городе, еще скорее одичаешь — вон как люди там давятся в очередях, в автобусах.

— Дело тут не в людях. Дело в том, отчего эти очереди, эти давки.

— А-а-а, с голоду не пропадают, а все равно давятся в очередях. Да и шум, гам, беготня, а тут-то вон как спокойно — красота,— она с легким вздохом показала глазами на озеро.— Тут не одичаешь.

— Везде можно одичать... Ну, потом посмотрим. Можно, в конце концов, и в деревне пожить... Только ты мне, дорогая, больше про эти утопления не говори. Не надо, ладно?

— А помнишь, Славка утонул. Вы его бросили на озере, уметелили в кино. Это в третьем он учился, что ли...

— А при чем здесь мы-то?! — сердчало вытаращился на нее Иван.— Он сам остался. Кто знал... Ты хоть думай, что говоришь-то. Славку помянула... Сама топиться собралась.

— Нет, это грех великий.

— Вот и не болтай лишний раз языком.

— Да я же так,— она, сладко потянувшись, с кошачьей истомой выгнула свое тело коромыслом и опушила глаза ресницами.— Так уж и топиться сразу. Мне же только подмигнуть, ухажеры мигом налетят, отбою не будет. У нас же, сам знаешь, в деревне всю дорогу на девок недостача. А я вроде ничего еще, не старая,— она, лежа, заломив шею, оглядела себя от поспелой груди, едва втиснутой под горошистые лоскутки, до сухих, буроватых икр.— По улице иду, парни оборачиваются, иной еще привяжется.

— Дед Подшивалов,— весело подсказал Иван.

— Пошто?! Один мне даже немного глянется. Все глазки мне строит,— она ожидающе покосилась на Ивана, и тот сделал безразличный вид.— В кино однажды приглашал. Набивался в провожатые...

— Мелешь чо попало! — в нем ворохнулось что-то похожее на ревность, и он невольно, но с приценкой оглядел ее — благо, что почти нагишом, она вся тут

же услужливо подставлялась глазу; плавно соскользнув с припухлого живота заблестевшим взглядом, хотел было уже поцеловать в узенькую впадинку, межущую грудь, как вдруг вообразилась суженая с кем-то еще, с каким-то пьяным деревенским увальнем, сопящим в ее лицо, хапающим ее корявыми клешнями, и от одного лишь такого видения все в нем налилось нестерпимой обидой.— Ну и дуй к нему, если нравится,— Иван перевернулся на живот и уткнулся в сырую землю, пахнущую плесенью.— Иди. Я топиться не буду, не переживай.

И снова Груня, разом опамятовав, точно окатившись мерзлой водой, выспрамила свой язык вольный, стала утешать Ивана, и, податливый на ласку, он скоро оттаял, обернулся к ней, со всей моченьки сжал ладонями заостренное к нему, присмиревшее лицо,— сжал, точно боясь его выронить, и, как матери свое чадушко, так хотелось, до приступа хотелось еще сильнее стиснуть это родное до кровиночки, чистое лицо — во всем теле, в руках пошла дрожь, зубы скрипнули от приступившей жестокой нежности. Они и не помнили, как оказались на коленях, как пали скошенно на плащ, запорошенный песком, травинками-былинками, пересохшими листьями и даже лепестками ромашки.

— Глупенькая ты моя!..— точно выпивая ее лицо распахнутыми, жадными глазами, бормотал он, почти тут же и сознавая, что в голосе сквозит холодноватая фальшь, что слова, украсные, кошачьи ласковые, расчетливо подбираются в голове и он слышит их раньше, чем они слетают с губ.

Злясь на себя, провел пальцем по округлому, ясному лбу Груни, по вздернутому носу и приплюснутым, сухим губам, затем напряженно и сильно погладил по резко проступающим ключицам и глухо досказал прямо в мигающую на заломленной шее синеватую жилку:

— Родинка ты моя, да как же я без тебя...

— А хошь и бросишь, бросишь...— она воротилась от его каленых, неуемных губ,— хошь и кинешь, мне и так уж много выпало, я и так уж счастлива. Ты бы знал, как я счастлива. Господи ты мой!..

— Нет, нет, этого мало! — ничего уже не видя, ничего не понимая наговаривал Иван, торопливо пробегающей ладонью лаская ее плечи.— Нет, так всю жизнь должно быть. Всю, всю жизнь! И так будет. Непременно будет.

— Постой, постой!.. ты прости меня, дуру, прости! — вздрагивая, дыша сырыми всхлипами и захлебываясь шепотом, молила она.— Прости меня. Я тебе буду хорошей женой, честное слово. Я буду всегда любить тебя. Я тебе все прощу... Ох как я измучила тебя сегодня. Я буду беречь тебя, я буду служить тебе. Я тебя ничем не попрекну. Только ты...— она хотела что-то досказать, но губы ее покрылись будто пламенем, и, задыхаясь от привалившего комлистого тела, сцепила руки на широкой Ивановой спине и прикрыла маятные глаза.

Озеро, будто свернувшись, съежившись на жаре, как уснуло перед полуднем, так и спало беспробудно, но тишиной и покоем сторожило тайну двоих, нашедших приют на берегу, в тенистом шалаше сомкнувшихся кустов боярки.

* * *

На губах Ивана еще бессмысленно ерзала взад-вперед улыбка, рука еще растирала теплую сырость, скопленную в ложбине на груди, но глаза уже далеко-далеко ускользнули из этого дня и невидяще смотрели на Груню, спящую, положив в изголовье ладошки и укрывшись Ивановой рубахой.

В трезвеющем уме — верно, что горе от такого бесконвойного ума — сперва мимоходом, усмешливо зажегся праздный вопрос: а что, если вдруг, коль не так что-то пойдет, возьмет и утопится?.. Вопрос этот, раздуваемый сквозняком отчаянно блуждающего воображения, запалился сильнее, ярче, светом своим вроде слепя глаза. «Да нет, глупости все. Так, слова одни. На жалость нажимала... Хотя, Господь ее знает, все у нее как-то на пределе, все у нее через край. От такой, поди, что угодно можно ожидать. А потом расхлебывай... О Господи! Не приведи Бог! Тьфу, тьфу, тьфу!.. От вляпался, а. Но ведь люблю же ее?.. Сейчас-то все хорошо, слишком хорошо — это и плохо, после хорошего, да когда слишком, сразу беду поджидай. Да-а... А мо-

жет, это и не любовь, так, похоть одна?.. А какая она настоящая?.. А вдруг она придет — самая-самая, а ты уж готов, связан по рукам и ногам. Да-а... О Господи, и что у меня за жизнь такая — вечно дрожишь?! — он сдавил ладонями виски и весь переморщился, точно на язык попало что-то кислое.— Ишь, утоплюсь, говорит. Да еще и Славку помянула,— он с обидой повернулся к спящей Груне.— А при чем тут я-то?! Он сам утонул, сам!..»

Сумрачно зауженный зрачок Ивана стал как бы расти и шириться, пока не вместил в себя все озеро, по-летнему сыто взбухшее, зеленоватое, потом — высокий деревенский берег с часто патыканными по нему забуревшими от старости избами, от которых зелеными подолами в белых, сиреневых цветочках спускались к воде огороды, обнесенные тынами, частоколами с накинутыми на них рваными неводами. И раскрылся весь тот давнишний августовский день.

XI

И воскрес на берегу озера сын военкома Славка, прикочевавший с родителями откуда-то из Подмосковья.

Тоненький, желтенький будто цыпленок, как приехал в Степноозерск, так сразу и взбаламутил деревенскую братву, конопатую, с облупленными носами, с цыпками, докрасна изъевшими руки и ноги. Роем завилась братва вокруг приезжего мальчика, а был он именно мальчиком, не пацаном, не парнишкой и тем более не архаровцем, как навеличивали самых отбойных степноозерские деды. Славка хоть и поглядывал виновато, стеснительно, но не обижался на въедливо глазеющих ребят; постаивал себе на мостках, с каких приозерные девки брали воду, красовался, ладненький, будто игрушечный, только с не по-детски запавшими глазами, наивно и сине светящимися из-под реденьких бровей. Все для деревенских было в нем непривычно: и чистые, белые руки, и отутюженный матросский костюмчик, и даже то, как он со взрослой пристальностью заглядывал в ребячьи лица, а потом уж совал свою ручонку, как большой, и приговаривал: «Слава... А тебя как звать?» Сроду здесь ребятишки не знакомились таким макаром, а потому, ошалев от неожиданности, машинально пожимали сунутую руку, однако называться не назывались — то ли оторопев, то ли не не зная верно, имя свое говорить или деревенское прозвание.

Ванюшка от приезжего не отставал ни на шаг, глазел на него, чисто баран на новые воротья, пуча застиранные от вечного купанья, выгоревшие на солнце глаза; смотрел, как на диковинную магазинскую куклу с надолго заведенными ручками, ножками, с моргающими — луп-луп! — виноватыми глазенками; и, бурливо шмыгая непросыхающим носом, поддергивая на плечах съезжающие, скрученные в жгут лямки чиненой-перечиненной майчонки, нет-нет да и невольно теребил парнишку, точно в самом деле проверял: заправдашний он или заводной, игрушечный. Живой, но будто слепленный из белого сладкого теста, такой непохожий на деревенскую братву, вроде ржаную, зачерствелую.

Так они рядышком и похаживали — тоненький чистенький Славка и обгоревший на солнце, вечно изволоженный по уши, толстый Ванюшка. Деревенские бабы попервости умилялись при виде Славки, сюсюкали, норовили потискать на мягких грудях, будто малую детку, при этом вроде и не замечали стоящего рядом Ванюшку, которому, конечно же, нелегко было глядеть на это; и только, бывало, очередная умиленная тетка отчалит, обнюхав Славку, как он тут же или толкнет того в грязь, или пушнет сухой коровьей лепехой, а то и просто задразнит, вроде и забыв, как самого, толстого, неуклюжего и робкого, изводили уличные дружки, особенно самый отчаянный из них — Маркен.

Славка на такие выходки Ванюшкины лишь виновато помаргивал поросячьи белыми ресницами, точно и в самом деле был виноват, что уродился таким ладненьким, что живет в неге и холе, что отец его военком, а не простой мужик, не пьяница подзаборный и не матерщинник, как у Ванюшки.

Редкая ребячья нога переваливала через порог военкомовского дома, и Ванюшке хоть краешком глаза хотелось глянуть внутрь большой хоромины, построенной на берегу озера в ряду других начальственных домов, с размашисто

прорубленными окнами, в синих сумерках глазеющими через шторы праздничным, вишневым светом. Славка отчего-то сроду не приглашал ребятишек в гости, и только раз, когда военком укатил, кажется, в город, Ванюшка все ж таки угодил в этот загадочный, влекущий дом.

Они тихо и смирно посиживали со Славкой на кожаном диване, укрытом плюшевой накидкой, и листали толстую, блескучую книгу с картинками про диких зверей; но Ванюшка, не чуя себя от волнения, смотрел в книгу, а вместо краснозадых обезьян и свирепых тигров видел одну фигу; ошарашенный, разглядывал он переднюю, где теснились нарядные полки с книгами (в доме Ванюшки отродясь книжек не водилось, если не считать истрепанных в труху, залитых чернилами учебников); рядом с книжками стоял виденный им впервые громоздкий приемник, накрытый тем же плюшем; в чинном хороводе мягких стульев красовался посреди передней круглый стол на фигуристых, одуловатых ножках, застеленный опять же вишневой плюшевой скатертью; плюш с подшитыми кистями висел и на дверях, и на окнах, и, кажется, даже толстая Славкина мать носила плюшевое платье, отчего долго не мог Ванюшка вообразить домашнюю роскошь без такого вишневого плюша; и весь этот мягкий уют млел в розовом свете, текущем сквозь абажур, низко свисающий над столом.

«Живут же люди, прямо как в кино»,— хлюпая отсыревшим в тепле носом, завидовал Ванюшка, не зная, куда спрятать с зеркально-желтого пола свои босые ноги в присохших разводах грязи, в кровоточащих цыпках. Печалясь, не понимая, почему одни в богатом уюте купаются, а другие, навроде его семейства, спят на холодном полу, подстелив войлочные потники,— припомнил свою чадную избу, поделенную пополам облупленной печью, подле которой — шею можно свернуть в темноте — городились бесчисленные кухонные городки — закопченные чугунки, деревянные лагушки, чушачьи ведра с мятой картохой. В кухне, и без того тесной, отец еще и наспех мастерил ясли то для ягнят, то для телка, который денно и нощно со звоном прудил на пол, а потому в избе круто настаивался едкий запах мочи; к нему добавлялся душок проквашенной, «для самого скуса», соленой рыбы с душком; пахло еще уплывшим и пригоревшим молоком, закисшей кожей, махрой, водкой — так что у человека, сунувшего нос с вольного воздуха, могла смориться голова от тяжкого духа.

Тут, у Петровых, все было иначе. Дивясь и завидуя чужой жизни, Ванюшка снова и снова оглядывал переднюю; на комоде, с резными гроздьями бурых ягод, с медными ручками, выпукло и приманчиво глазу стоял баян, и у Ванюшки, сроду не державшего его в руках, загорелись глаза. Он и сказал про то Славке, попросил сыграть.

Едва живым голосом заскулили лады, с хрипом завздыхали им вслед басы, а Ванюшка стал напевать чуть слышно:

Во поле березынька стояла,
Во поле кудрявая стояла...

Этой «березынькой» он уже весь язык промозолил в школе на уроках пения, но здесь она звучала по-иному — жалко, сиротливо, прищемляя сердце.

Некому березу заломати,
Некому куряву заломати...

Из-за вяло шевелящихся мехов обиженно помаргивали Славкины запавшие глаза, отчего чуялось, что хоть и живет он в холе, а все ж невесело живет; и на то причины водились, о чем Ванюшка вызнал позже: Петров-старший, раненый, контуженный на фронте, случачалось, так запивал, что аж чернел от запоя, и нет-нет да и отваживались с ним деревенские врачи; пил редко, но не по-людски — заглазно (все ж как никак военком), средь бела дня закрывая ставни, крепко запирая ворота. Семью, правда, не гонял, но те, по словам вездесущих соседок, и так страху натерпелись, когда он, седой, как птица-лунь, крово-глазый, по-волчьи подвывая и скрипя зубами, тянул тоскливый мотив, орал, беспамятный, команды. Потом несколько месяцев и в рот не брал эту отраву, на дух не переносил, и опять срывался, и и опять выл, не помня себя, поминая и фронт, свою начисто погибшую первую семью — поговаривали, что это у него вторая семья.

Ничего этого Ванюшка еще не знал в первый свой приход и только зарился прилипчивыми глазами на беленьких

гипсовых слоников да примерялся, чего бы исподтишаря или, наоборот, под шумок, пока Славка играет, прибрать к рукам — имелась такая привада в малолетстве.

Когда Славкина мать позвала их к столу, когда поманила распевно-мягким, хохлятским голоском, Ванюшка по пути в кухню все же изловчился и сунул под майку ножик-складешок, случайно брошенный на книжной полке.

Пили чай с голубичным вареньем и жаркими, прямо с печного пыла, сдобными печенюшками; и Славкина мать, сама как мягонькая, белая печенюшка, стояла у печи, облепленной кафелем, и, сложив руки под широкой грудью, умиленно поглядывала на ребят, при этом на все лады расхваливала маленького гостеньку: вот, мол, какой хороший аппетит, от того и здоровый, не то что наш задохлик. Когда она клонилась над столом, подливая чай, ее пушистая грудь касалась Ванюшкиной головы, и он весь обмирал в самых путаных, жгучих чувствах: было и стыдно, что спер ножик-складешок — он холодил ему пузо под майкой, и хотелось прижаться к Славкиной матери, точно к своей, чтобы она приласкала, пожалела его — своей-то, запурханной с ребятишками, со скотиной, не до жалелок; и в то же время уже что-то не детское теплилось в душе, когда он косился на полные, мучнисто белые руки этой красивой и толстой хохлуши, когда слышал ее сладковатый запах, когда перехватывал взгляд ее мелких на дородном лице, притаенно синих глаз. И если понятие уюта долго было в нем каким-то вишневым, плюшевым, то понятие женской красы всегда обретало белые, полные формы, и он потом немало скорбел, что стали выводиться такие женщины, навроде Славкиной матери.

XII

Со Славкой все быстро сдружились, зазывали играть в лапту, в пекаря, когда гоняли палками вдоль по улице березовый колышек; и при случае в ущерб своим носам защищали его от ребятни с другой улицы, потому что степноозерская братва понавадилась тогда схлестываться то улица на улицу, то край на край — в ход шли даже камни, и мир, бывало, не брал, пока ребятишки не подрастали, но взамен подросшим, остепенившимся тут же дикой лебедой, буйной крапивой созревали новые архаровцы, и зачинались новые драки. Славка же, не умевший давать сдачи, потчевал своих спасов конфетами или наделял крючками, жилкой. Но крепче всех — водой не разольешь — привязался он к Ванюшке, хотя тот никогда его не защищал от ребятни с других улиц, поскольку еще быстрее убегал от греха подальше.

Не сломалась их дружба и тогда, когда они напару приударили за Груней Машановой, темненькой, ладной, похожей на крохотную бабоньку, серьезную и степенную. Что это было, Бог уж весть, но в третьем классе Ванюшка простаивал напротив ее окон, хоронясь в тени заплота; ловил глазами ее, мелькающую в освещенном окне, нетерпеливо поджидал, когда она выйдет закрывать окна, чтобы, ничего лучшего не придумав, подразнить ее в сердцах, а то и надрать за толстую косу. Тогда же, в третьем классе, вдруг прояснилось, что за ней похаживают и Пашка Семкин и Минька Банщиков, живущий на дальнем краю деревни, и еще кто-то, и еще кто-то. Груня же привечала одного Славку, хотя тот и не мозолился под ее окнами; Ванюшку же напрочь отвергла уже за то, что в приступах умиления, не умея иначе выразить чувства, тот со всей силы дергал ее за косу, бил по спине наотмашь, щипал, а то и сваливал в кучу-малу.

Со Славкой было поспокойнее, она и сидела с ним за одной партой.

* * *

«...Может быть, я тут чужое место занимаю? — ревниво спросил себя Иван, глядя на спящую Груню.— И все бы у них было яснее и проще. Хотя, кто его знает, что бы из него теперь вышло. Может, какой-нибудь пузан-начальник, и к нему бы теперь не доступился...»

* * *

Но другой раз они втроем тихо, мирно бродили у озера, потом к ним при-

стал и Ванюшкин дружок Пашка Семкин, еще позже — Минька Банщиков. Загустевшими августовскими вечерами, когда рябь чешуится в рассеянном, бедном свете, посиживали на мостках с вылизанными волной плахами, которые были уложены на зеленые от тины, осклизлые ко́злы, далеко забредающие в озере по мелководью. С лихим, счастливым азартом грызли надерганные в чужих огородах морковки и репы, полоща их в озере, обдирая репу прыткими зубами; и наперебой, стараясь переорать друг друга, вспоминали свои ночные похождения: как вьюнами ползли меж картофельных грядок, испуганно вливаясь в землю при всяком шорохе, как потом, заполошно надергав репы, морковки, драли через огород что есть моченьки, рвали штаны на заплотах, падали в крапиву, обжигались, зашибались. А чтобы похождения гляделись интересными, захватывали дух у слушающих, безбожно врали. Не все, конечно, отваживались на такие варначьи подвиги; Славку, к примеру сказать, даже силком бы, однако, в чужой огород не затащил, и это ему странным образом прощали маленькие варнаки и, мало того, наперебой угощали его ворованной репой и морковью.

А тьма пуще сгущалась, и месяц, изредко показываясь в прорешки меж туч, осветив ребятишек, опять укрывался мороком; но в неведомом свете волшебно поблескивала черная густая вода, иногда всплескивалась с леденистым звоном, журчала, набегая на мостки. Огородные страсти перегорали, подъедалась наворованная овощь, и тогда Ванюшка, смалу баешник, начинал плести сумрачные тенета «страшных историй»; ребятишки слушали, замерев, не бултыхая ногами в воде. А уж в озерном мерцании, в плавающих тенях блазнилась нежить; ребятишки мигом подбирали ноги из воды, потому что, как баял Ванюшка, тутошний хозяйнушко, лохматый озернушко, может и за ноги утащить, особливо ежли вздумаешь купаться после заката,— случались такие уповоды. Пашка Семкин, для правдоподобия вылупив глазенки, задышливым шепотом, чуть ли не божась, тут же поведал, что третьего дня сам видел озернушку, вот как Славку,— он тыкал пальцем в него, неживого и немертвого, давно уже переставшего дышать в полную силу; и — дальше пугал Пашка — будто озернушко сидел на этих же мостках, курил махорку и страшно материл кого-то; и вот уже виделось, как старый озерник хлопает по счерневшей воде своими лохматыми лапами, будто щука-травянка бьет хвостом; вот уже совсем близко, вот он выступает из темени — на голове шапка из травы-шелковника, подпоясан стеблями водяных цветов-купав, рожки топорщатся по сторонам, сивая борода, как у козла, развевается на ветру, а глаза горят нестерпимо синим огнем и светят все ближе и ближе... Тут ребятишек будто ветром сдувало с мостков и уносило в деревню. Но спускался с неба новый вечер, и опять являлись перед распяленными ребячьими глазами водовики и водяные девы, выбредающие из воды в тине и траве, гремящие цепями, какими примыкали рыбаки свои лодки к причальным столбам; и опять, поджав ноги, косились ребятишки под мостки — не крадется ли оттуда лохматая рука; и опять, не дослушав очередной Ванюшкиной страшной байки, неслись вскачь к деревне, боясь, как бы не выметнулось на дорогу запаленное сердчишко.

И тогда же Ванюшка со Славкой мечтали построить парусную лодку — эдакий карбас,— и, прихватив с собой Груню, исплавать озеро вдоль и поперек, а потом, выбравшись через исток во второе — километров двадцать в длину и пятнадцать в ширину, и его обогнуть вдоль берегов, приставая на ночь в глухих, таежных укромах. Мечтали, разобьют табор где-нибудь под кустами боярки и черемухи и, глядя в лаз балагана на сморщенное рябью млечное озеро, будут счастливы тишиной и тем, что одни-одинешеньки.

* * *

Через год после того, как семья военкома прикочевала в Степноозерск, Славка уже не шибко и отличался от деревенской ребятни; научился так-сяк играть в лапту и выжигало, в чижа и пекаря, в прятки и просто догоняшки, и только «войнушку» да чеканку — игру на деньги — обходил стороной, и вот еще не подсматривал за

девчонками, когда те выжимались после купанья за дощатым заплотом, в котором, как нарочно, столько имелось щелей и пустых глазков, откуда выпали сучки. Он поокреп на озерном воздухе и свежих окунях, хотя до того же Ванюшки, толстого, круто сбитого, ему было еще далеко; и теперь Славка днями напролет загорал на каленом, белом песке, но, правда, загар худо лепился к его иссиня-молочным лопаткам; словом, стал он почти как все, и только от самого своего приезда пуще огня боялся глубокой воды и не заплывал мористо, потому что плавать так путем и не приловчился; и когда жар все же загонял в воду, то бултыхался под самым берегом, возился в тинистой мути с бесштанной командой дошколят. Над ним, конечно, посмеивались, но он терпел.

Сухим зноем вызревал тот памятный август; вода потянулась жирно-зеленой ряской, прогрелась до самого дна, и ребята, измаянные калящим солнцем, дотемна просиживали в воде, купались до посинения; так и метался, так и метался звонким горохом ребячий визг, вплетаясь в похожий чаячий, и до фиолетовых сумерек торчали из воды ребячьи головы.

А потом возле облупленной стены брошенной церквушки, исписанной чем-то вроде: «Славка + Грунька = любовь до гроба, дураки оба!» зажигали костер, привалив в него старый баллон; пыхал в звездное небо трескучий, искристый огонь, разметая своими метелками ночь, и в пляшущем красноватом свете, корча рожи, плясали ребятишки, задешево продавая дрожжи,— значит, тряслись, выбравшись из воды на стылый, ночной воздух. Тут же отжимали трусы, сушили их на дыму, а потом начинались все те же байки.

XIII

Под самую осень, когда озеро начинало пошумливать чаще, гнилую развалюху — долгий узкодонный гроб с музыкой — хором сдернули с песка, на воде перевернули кверху днищем, и получилась знатная ырялка; кто-то из парнишек полз где на карачках, где на пузе до самого носа старой лодки, ребятня тем временем с диким ором наваливалась на корму — нос лихо задирался, и доползший быстро нырял. И так по очереди... Наловчившись, пареньки выхвалялись друг перед другом — ныряли с подпрыгом, по-чаячьи разводя руки, потом в полете сводя и туго впиваясь в воду.

Славку, чтобы испробовал такую красу, долго уламывали, заманивали к нырялке, и тот лишь тогда сомустился, когда позвал Ванюшка и посулился на всякий случай караулить его возле нырялки. Нырнул он плохо — голосисто шлепнулся брюхом об озеро, нахлебался воды, но самое смешное и грешное, потерял трусы — кажется, лопнула резинка от натуги, и пока он, по-лягушечьи дрыгая ногами, по-собачьи подгребая воду под себя, скребся к берегу, отяжелевшие трусы сползли с ног. Вдоволь нахотавшись, ребята долго шарили ногами в сизой глине, в листовой щучьей траве, потом ныряли с открытыми глазами, и все без толку, лишь муть подняли; и тогда кто-то смехом предположил, что их озернушко давно уж подобрал, напялил на себя и теперь плавает, форсит обновой перед водяными девками.

Поныряла еще братва, затем подчалила перевернутую лодку к берегу и кинулась выжиматься за дощатый заплот; они бы еще купались да купались, но приспело времечко бежать в клуб, куда привезли новую кинушку. Позвали и Славку, который сидел в воде, стесняясь вылезти голым, но тот лишь махнул рукой и через силу улыбнулся голубичными, тряскими губами: дескать, бегите, я сам потом приду. Ну, придешь так придешь; мало-мало отжав трусешки, еще оглянувшись на Славку, сиротливо торчащего среди волн, ребятня сыпанула берегом до клуба, так что замелькали пятки, вздымающие пыль с песка. Славка же, клацая зубами, поджидал, когда с берега уйдут девчушки, затеявшие игры на песке. И надо же было этим козам затеять игру прямо напротив бывшей мельницы, за заплотом которой ребятишки выжимались и где лежала сейчас Славкина одежонка; оно, конечно, можно было отнести ребятам одежонку куда-то в сторону от девчушек, коль Славка стеснялся проскочить

мимо них нагишом, но по всему берегу как на грех пасся народ — день выпал воскресный.

Догоняя ребятишек, Ванюшка несколько раз оглядывался, даже останавливался в нерешительности, но потом махнул рукой и припустил пуще.

Сами по себе, вроде и без большого ветра, быстро взыграли серые валы, точно чаща озера неприметно дрогнула, качнулась, взволновавшись изнутри, и выпустила с тайного дна дремавшую до того смуту; и скоро уже волны закучерявились беляками, с тугим и шуршащим, как листва на ветру, тяжелым напором полезли на песок.

* * *

Может быть, все на берегу и было как-то иначе, но именно так ясно увиделось Ивану через пятнадцать лет, что и невольно поверилось. Странная и неподвластная человеку избранность и капризность памяти, откладывающей в себя то, что человеку порой и не хотелось бы помнить.

* * *

Билетами не торговали: картина уже гулко, с эхом во всем клубе плескалась, гремела — лишь с грехом пополам разжалобив сердитую контролершу тетю Фазу, Ванюшка прошмыгнул в темный зал; и навсегда запомнил он, что в клубе тем вечером гнали кино «Дети капитана Гранта», и от ребятишек негде было яблоку упасть — впритык сидели и стояли в проходах, лежали под самым белым полотном, и слитно, тревожно, обмирая сердчишками, дышали воздухом, таким запашистым и густым, что, казалось, можно его резать на куски; а потоки света тем временем, блуждая, вынимали из темени очумелые ребячьи лица.

После этой картины стал Ванюшка запоминать и другие, хотя из самих «Детей капитана Гранта» лишь виделось смутно: парнишонка зверенышем впивается в толстую и, кажется, волосатую — непременно хочется, чтоб волосатую,— разбойничью руку; больше из «Детей...» ничего не пристало к памяти, глянуть же сызнова, взрослым, так и не довелось. Осело еще, правда, ощущение, что парнишки в картине подобрались все как на подбор дружные, отчаянные — один за всех, все за одного.

Из клуба ребятишки шли раззадоренные, как молодые петушки, и не знали, куда приладить взыгравшую удаль, поэтому шутя-любя-играючи мутузили друг друга, толкали, валили в кучу-малу; потом еще и налетели на девчоночью стайку, начали их трепать, и Ванюшка, как всегда, старался наскочить на Груню, пихнуть, щипнуть ее, увалить в канаву.

А утром...

* * *

Ванюшке за детство почти ежелетно приходилось видеть, как мужики выуживали неводом утопленников — озеро нет-нет да и, сыто урча волнами, облизываясь, будто языком, проглатывало свою жертву: гулевана ли, и на земле-то шатко стоящего, надумавшего купаться, отчаянного ли рыбака, мористо заплывшего в большой вал и поставившего лодку бортом к волне, ребят ли, баловных и вольных, заигравших на глуби и опрокинувших лодку,— могилки под-над озером уже не одного такого спрятали в своей черствой, степной земле. Видел Ванюшка утопших — хоть издалека, но видел, и все же никак не мог представить Славку, желто-кукольного, стеснительно моргающего из-под белесого чубчика синими глазками, скрюченным в три погибели, с лицом, раздутым водой и синюшным, всего увитого подводными травами; не видел и не мог вообразить, а потому всегда казалось, что он укочевал вместе с родителями и вырос где-то далеко-далеко от Ванюшки, откуда, чем-то обиженный, так ни разу и не подал весточки.

Он не пошел на похороны и поминки и только слышал краем уха, как мать, вернувшись с могилок, разговаривала со своей дочерью, старшей Ванюшкиной сестрой; как, часто кивая головой, утирая слезы ситцевым запаном, вздыхала: дескать, и за какие такие грехи Бог прибрал?.. там и было-то цыпленку по колено... ох, не за наши ли пригрешенья?.. другого, мол, посмотришь, и как мать сыра земля носит, не

проваливается со стыда за него, а ему хоть бы хны, и никакая холера его не берет, а тут...

Одно время ребятишек не пускали на озеро без взрослого догляда, да разве ж за архаровцами уследишь, и родители вскоре попустились, махнули рукой, положась на волю Божью.

XIV

Лежа подле спящей Груни, отгоняя мошку сигаретным дымом, Иван задался тем же вопросом, что и мать его когда-то: за что же пострадал парнишка, за что Озеру было угодно взять и отдать его душу Небу, если у Славки за душой еще и птичьего-то, поди, не водилось греха, если еще не созрел, чтобы опечалить Небо и Озеро грехом и пороком?..

Иван в другие времена, в городской, перехватывающей дыхание, опустошающей суете, редко поминал Славку, да и старался, чтобы не бередить душу, лишний раз не поминать, но, как и сейчас на озере, случались такие часы, когда он был невластен над воспоминаньями; в ночь-полночь являлись они в расслабленное, беззащитное и беспощадное воображение всем своим тоскливым хором и тянули душу.

Так за что же его-то, светлого, невинного, прибрал Бог? Нет никакого ответа — озеро кутается зеленоватым, душным сном, небо затянуто знойной мглой. А может — припомнились слова матери,— взяло его Озеро, в коем тоже Божье присутствие, взяло, чтобы потом сверять по нему вновь восходящих, взвешивать их прегрешения, но не для того, чтобы судить страшным, неумолимым судом — не только для того, а чтобы верно знать, где предел прощения. Как уж тут судить, если одни до гробовой доски робко примеривались жить в этой жизни, непроглядно затянутой кровавым и пьяным туманом, с густо развешенными среди него приманками лукавой силы; другие же всякий огонь пытали своими руками, не зная или не слыша в шалом грохоте мудрых советов, и, конечно, обжигались до незаживающих волдырей, до вечных корост на душе; потом, когда приоткрывался Свет, судили себя маятным судом — судили и силы в себе искали, чтобы принять очистительный Свет. Но так мало сил, так сладок искус, лукаво измысленный, застивший Свет, манящий тебя на всяком шагу.

Но дай-то Бог, чтобы Свет насовсем не пропал из глаз.

Нет, неисповедимо, для чего он ушел, но на земле он был, может быть, для того, чтобы перед нетраченным ликом его мы спасительно понимали, как слепы и, дикие в плоти, сдержанны душой, как за нашу слепоту, за сдержанность здесь же на земле гнет и ломает нас жизнь.

Но еще много нужно было лет, чтобы Иван, проживший чуть больше двадцати лет, понял это.

* * *

— О чем ты опять задумался? — долго теребила его Груня, прежде чем тревожный голос пробился в него и вернул из студеной, засасывающей топи видений на этот высокий берег, под горьковато пахнущие кусты боярки.

— Да так, лезет в голову всякая всячина,— выдохнул он, покорно сронив голову на ее колени.

— Жалко мне тебя, жалко,— сказала она куда-то в листву, теребя его волосы, вжимая сникшую голову в грудь.— Какой-то ты весь замороченный. Но ничего, ничего, поживешь в деревне, порыбачишь, отдохнешь на озере, и все пройдет. Я тебя сама излечу, ты только слушайся меня.

— Купавушка ты моя, как бы я без тебя-то?!

— Не надо про это,— ответила она, спутывая и распутывая его волосы, пропуская их сквозь пальцы, а потом будто крупным гребнем заправляя назад.— Я что, деревня битая. А ты себе, может, еще ровню найдешь, умную какую. Я уж не буду поперек вставать. Лишь бы тебе было хорошо...

— Опять ты за старое,— упрекнул ее Иван и загорячился.— Да ты поумнее других, хоть и, как говорят, институтов не кончала. И добрей.

— Да нет,— усмехнулась Груня,— какая добрая, я тоже эгоистка. Видишь, ухватилась за тебя обеими руками и никому не хочу отдавать. Но мне казалось, что я тебе сужена... А помнишь, как вы со Славкой за мной бегали?

— Не только мы. И Мишка Банщиков, и еще кое-кто.

— Вот дураки были... Бедный Славка...— она замолчала, уставившись сквозь листву куда-то в край озера.— Да он-то и не бегал, я сама, дура, за ним подглядывала. А вот ты...— она с лукавой ухмылкой погрозила ему пальцем.— Это в третьем, кажется, классе, не помню, но как-то мать мне говорит: вон, Грунька, жаних твой на дежурство пришел, сопли морозит. Меня аж злость брала...

— Ты, это самое, ты больше мне про русалок не загибай, ладно?

— А-а-а,— с невеселой усмешкой протянула она, и рука ее застыла в Ивановых волосах.— Вон ты про что. А я уж все позабыла, все заспала. Что я, что я?! Было бы тебе легко и спокойно, а про меня-то что говорить — я девушка простая.

— А мне и так легко сейчас и спокойно, но мне хочется, чтобы и тебе было радостно.

Теперь он ничего не думал, не прикидывал, не слыша в себе старого, заскрипшего голоса; теперь он, сдерживая нахлынувший восторг, ощущал покорно приникшее к нему, затаенное в ожидании, такое родное до каждой родинки смуглое тело, при этом он видел и печально покорные, какие-то вроде коровьи глаза.

— Сколько у тебя родинок,— покачал он головой.— Как вызвездило зимней ночью. Счастливая будешь.

— Не знаю... Сейчас вот кажется, что мне даже много лишнего выпало — вон как другие девки тоскливо живут. А с другой стороны, мне даже как-то страшновато, будто мы в какой-то омут упали, и нас закружило, и мы уже света не видим.

— Не присбирывай лишнего, как мать моя говорит. Живи пока живется.

И снова их полное одиночество на пустынном берегу, а будто посреди земли, в глухом сплетении боярышника, глушащего, словно заради них двоих, суетную жизнь, разбухшую визгом и скрежетом, воем и ревом, окутанную дымом и пылью, давящую слепыми гусеницами тонкую, как детский волос, зеленую траву.

А солнце уже сморенно клонилось в заозерную тайгу, уже не сияло ярко, но от всего маревного неба курилась на озеро банная духота. Зазвенели первые комары, суля близкие потемки; пора было плыть на рыбалку.

В деревню возвращались уже впотьмах, когда поперек озера выстелилась рябая, бледно-желтая лунная тропа; но пролегла она в стороне от их пути, поэтому лодку пугающе сжимала глухая тень. С вкрадчивым всплеском, незримые, опадали в озеро весла, журчала, всякий раз обмирая, вода в корме, и Груня чуть слышно пела:

Срони-ила коле-ечко-о со право-ой руки-и,
Заби-ило-ось серде-ечко-о о-о мило-ом
дружке-е..

Иван уже слабо различал девушку в темноте, вот и мерещилось, что тянучая, со вздохами песня вздымается из самого озера, точно само оно, вслед за песней зачарованное, потянуло мотив, такой знакомый ему.

* * *

После того как дороги их навсегда расползлись по земле — Иван тихо отчалил в город, получив оттуда сразу несколько писем,— он чаще, чем всякое другое из своей непутной юности, поминал тот боярковый берег, озеро и то, что они были тогда совсем одиноки и от одиночества тесно жались друг к другу. Может, от того и поминалось с горькой отрадой, что после он уже никогда не ощущал такого тихого и покойного уюта, точно над головой сняли крышу и потолок, и теперь хлестал в избу дождь, задувал промозглый ветер, завихряясь у стен, и сыпал колючий снег. Поредели туманцем, опали на озеро тогдашние страхи и сомнения, оголилась от того дня ясная, теплая вода, по которой он плыл, лениво разгребая ее руками, и рядом плыла она.

А тут вдруг пришла страшная весть — пропала Груня; вначале до Ивана добрался слух, будто утонула перед самой свадьбой, и вроде искали ее

долго, исшарили неводом все озеро вдоль берега, таскали железную кошку, привязанную к лодке, но так ничего и не нашли, хотя, говорят, какая-то приозерная старуха прямо божилась, что видела ее накануне сидящей уже под самые потемки на мостках; потом говорили, что кто-то усмотрел ее за деревней и будто шла она через поскотину к лесу; так или иначе, но, как отписали Ивану из деревни, проискав с полгода, выплакав все слезы, родные попустились. И было в случившемся для Ивана страшное, незамолимое... А в деревне уже знали такой случай: сел один старичок на велосипед и, приторочив к рулю берестяной туес, наладился к недалекому от деревни степному озерку за аршаном — за целебной водицей, сказать; и вот едет с тех пор, едет уже который десяток, будто укатив сразу на небеса, не оставив на земле даже примет своей плоти. И тоже искали, искали, а потом попустились.



Хорошо ли мы знаем историю своего Отечества? Увы! Многие имена выдающихся сынов России, целые исторические пласты нравственного и физического подвига россиян по укреплению мощи, упрочению нашего государства мы узнаем только ныне. Узнавая правду, узнаем лучше самих себя, видим яснее путь, по которому двигаться дальше, разрешая сложнейшие проблемы, копившиеся десятки лет. «Мы родом из Октября» — это определение еще долго будет «аукаться», напоминая все сумеречное и страшное, что случилось с нами во время забвения и беспамятства. Ощущая теперь себя русскими, народом, имеющим многовековую великую историю, сможем ли мы не выстоять и не победить в нынешнее смутное время?! Известный московский историк, драматург, поэт, лауреат Государственной премии РСФСР Анатолий Анатольевич Парпара считает этот вопрос риторическим.

Парпара: Вот у меня в руках две книги, которые удостоены Государственной премии РСФСР. Это — дилогия о Московской Руси, она охватывает два периода времени. Первый период, совершенно не исследованный в русской литературе и практически не исследованный в русской истории. Это период окончательного освобождения России от золотоордынского ига (так это теперь называется, раньше называлось — татаро-монгольское иго). Но, если исторически говорить, то от Золотой Орды освобождение, потому что от монгольского ига Россия освободилась полутора столетиями ранее, когда была сброшена власть монгольского хана (императора Искаракорома), а вот власть хана Батыя, который основал свою Золотую Орду, продержалась долго. Была она сброшена Иваном III, который еще имел имена Иван Правосуд и Иван Грозный. (Я говорю об Иване III, который был Иваном Великим, Иваном Грозным, но «грозным» в значении «не преемлющий врагов», «защищающийся от них»; а его царственный внук, первый русский царь Иван IV Грозный, тот был в смысле «жестокий». Слово «грозный», как вы знаете, имеет двенадцать понятий. Вот такая разница между одним Иваном и строителем Кремля Иваном Великим; колокольня Ивана Великого — это его колокольня, Грановитая Палата — это его, восемь башен Кремля построены были при нем. И вот этот период у нас совершенно не исследован. Есть роман Всеволода Никандровича Иванова об Иване Великом, но, поскольку он был издан в Харбине, у нас практические не известен. И еще было одно исследование — В. Язвицкого, поэта и прозаика,— «Иоанн Третий, Государь всея Руси», произведение малохудожественное, хотя с бытовой точки зрения исследование очень интересное. И вот мне удалось написать о локальном времени (1470 год), показать обстановку окончательного освобождения, столкновения многих партий... И тогда в России было много мнений. Так, например, Мамона Ощера говорил, что надо откупиться в очередной раз, поднять руку кверху и таким образом жить, как жили раньше, используя свои интересы. Но возобладало, однако же, мнение Ивана Великого и его супруги Софьи Палеолог, племянницы последнего Византийского императора Константина. Решили дать бой. Этот бой вошел у нас в историю как Великое Противостояние на Угре, но в последние годы почему-то «противо» — ушло из жизни и просто — «стояние на Угре». Современное понимание слова «стояние» — бездействие

(так же, как «сидение» казаков под Азовом. Можно подумать, что они просто посидели и разошлись; на самом деле, это было тоже величайшее сражение). Сорок дней было Великое Противостояние, была битва, было поражение татар, и татарам пришлось уйти. Таким образом, 509 лет назад была завоевана наша независимость, о чем мы с вами, к сожалению, мало знаем. Начало борьбы за независимость — Куликовскую битву — мы превосходно знаем, а 500-летие было отмечено только двумя работами — книгой доктора исторических наук Вадима Каргалова «Конец золотоордынского ига» (издательство «Наука») и вот моей работой, которая называется «Противоборство». Эта книга была издана в «Советском писателе», а недавно переиздана Тульским книжным издательством.

Корр.: Ведь не только потому, что эти страницы истории нашей малоизвестны, наверное, были еще какие-то причины, заставившие вас углубиться в изучение этого периода истории Отечества?

Папрара: Всякий человек, который дорожит своей задумкой, боится раскрыть ее полностью. Это не от суеверия, а просто могут вмешаться разные силы, начиная от физических сил, которые могут истончиться (год назад я перенес сложнейшую операцию, с трудом выбрался снова в этот мир), и, может так случиться, просто не хватит ни времени, ни духовных сил для продолжения работы, поэтому я не говорил о своем замысле. И вот я расскажу о второй работе, драматической поэме о Смутном времени. Называется она «Потрясение», издана «Воениздатом». Что объединяет две эти работы? Объединяет их герой по имени Гусаков. Это русский крестьянин при Иване Третьем. Его праправнук действует в «Потрясении» уже смоленским дворянином. Надеюсь, что его предки будут действовать и в войне 1812 года. И надеюсь, что мне удастся написать еще драматическую поэму о войне 1941—1945 годов.

Корр.: То есть, надо понимать, вы собираетесь показать историю одной русской семьи на протяжении 500 лет, причем в самых острейших переломных моментах, когда под угрозой были не только государственная целостность России, но и ее язык, культура?..

Парпара: Совершенно верно. Добавлю, что в центре всех этих исторических работ будет Москва, духовный и физический подвиг по объединению русских и иных земель вокруг себя, исследование центростремительных сил, тем более, что сегодня стали преобладать центробежные силы. Но так, кстати, было не однажды в истории России. Ведь, вы посмотрите, казалось бы, после нашествия монголов Русь истончилась, исчезла, но вдруг она появилась, и, как говорил Карл Маркс в своей «Истории дипломатии XVIII столетия», неизвестное государство Московия появилось, и султан Баязет, перед которым трепетала Европа, услышал надменные речи московитов. Так же было и в Смутное время, когда часть России была захвачена поляками и часть — шведами. В течение 12 лет, казалось, полностью исчезла государственность русская: шведы взяли Новгород и создали там свое государство, подвластное Швеции, поляки же два года сидели в Москве, (это Смутное время продолжалось, между прочим, 40 лет — оно не закончилось 1613 годом). Казалось бы, государство распалось на ряд мелких земель... Вдруг мощная волна народного движения поднялась на восстановление, как говорил Иван Забелин, народной правды против неправды правительства (имелось в виду семибоярское правительство). Так же было в 1812 году, когда 600-тысячное войско Наполеона пришло победить, унизить землю и правительство русское,— снова народная волна смогла победить иноземцев. И так же точно, вы посмотрите, и в войне 1941 года. Кстати, Сибирь сыграла в этой великой войне огромную роль. Мой друг прозаик Карем Раш даже написал такую замечательную повесть, как «Сибиряки против СС...», где как раз исследуется подвиг сибирских полков. Это было противостояние духа. Противостояние идеи кайзера, всемирной идеи захвата, которую олицетворяли войска Гитлера, и идеи независимости России, которую несли с собой сибирские полки...

Корр.: Анатолий Анатольевич, история семьи Гусаковых, разумеется, придумана

вами, но, любопытно, в архивах, в которых вы работали, нет ли документов, которые каким-то образом подтверждают вашу придумку?

Парпара: Вы знаете, поразителен вот какой факт — оказалось немало документов, которые как будто перекликаются с моей концепцией. Например, линия судьбы Ляпуновых. В Смутном времени — это знаменитый предводитель рязанских дворян, которого хитрые поляки при помощи предательства убивают. На Бородинском поле сражаются два брата Ляпуновых. Один из них за битву при Малоярославце получает генерал-майора от Кутузова. В Великой Отечественной войне участвуют четыре брата Ляпуновых, двое из них живы, двое погибли. Но самое поразительное вот что — я разыскал исторические корни предводителя рязанского дворянства Ляпунова. Он, оказывается, потомок младшего брата Александра Невского. И — еще поразительнее — когда мы говорим о битве на Чудском озере, мы вдруг узнаем, что в войске Александра Невского (юного, двадцатилетнего), оказывается, сражалась почти вся будущая элита России. Например, предок Пушкина сражался на Чудском озере, предок Ляпунова сражался там, предок Тютчева сражался там и много-много других. Вот какие корни тянутся к нам из прошлого!

Корр.: О ваших книгах немало пишут. Я видел публикации в «Литературной газете», «Литературной России», «Книжном обозрении», в журналах «Дон», «Литературное обозрение». Драматические произведения вызывают спор. Кстати, было выступление Андрея Мальгина в «Литературной газете». Ему показалось, что драматург проповедует идею русского мессианства.

Парпара: С этим я решительно не соглашусь. Вообще, мне кажется, некоторые просто не понимают, что такое «русская идея», просто путаются в определениях. Дело в том, что Россия, русское дело, о котором говорится в моих произведениях, исторических драмах, это — идея национального сплочения, идея соборности, идея объединения, создания храма, в который могут войти все народы на равных правах друзей, братьев, а не на правах подчинения. И история самой России, если ее, конечно, внимательно изучать, никогда не была историей завоеваний. Это была всегда история защиты попавших в беду. Так было, вспомните, с Грузией, так было с Азербайджаном, так было с Арменией. И вот, в частности, вы, наверное, читали, в журнале «Москва» была опубликована «Прекрасная и благородная ода» (народная легенда Армении), где действующими лицами были Иван Третий и Софья Палеолог. Каро Меликсетян в предисловии написал: «...И то, что песня неоднократно записывалась, говорит о неослабевающем интересе, о о надеждах, которые армянский народ — в силу душевной приязни и условий своего исторического бытия — связывал с Россией». Это очень характерно — на протяжении 500 лет песня передавалась из уст в уста. Значит, действительно, все надежды народа были связаны именно с этой страной...

Корр.: Историю которой, к сожалению, мы очень плохо пока знаем!

Парпара: Да, это беда наша общая. Вообще я не великий любитель цитат, но хотел бы вам процитировать очень точные слова Федора Тютчева, на которые, к сожалению, наткнулся только недавно, они очень актуально звучат сегодня! «Истинный защитник России — это история, ею в течение трех столетий неустанно разрешаются в пользу России все испытания, которым подвергает она свою таинственную судьбу». Удивительные слова! Нам сейчас необходимо вспомнить летописи. Была б моя воля, я бы прямо сейчас издал журнал, исторический журнал, где бы публиковал русские летописи, где бы публиковал документы, например, 1812 года, когда очистительная волна национального самосознания помогла противостоять идее республиканского правления, которую нес с собой Наполеон. (Кстати, Наполеон был достаточно умен, чтобы не освободить тогда крестьян, ибо освобождение крестьян от крепостной зависимости тогда пошло бы во вред самой России.) Нам нужно снова напомнить, что мы живем на земле, богатейшей ратными подвигами, вспомнить духовные подвиги, вспомнить старцев-пустынников, подвижников светских, не только полководцев (таких малоизвестных теперь, как Румянцев, Ляпу-

нов), но и просветителей, — ведь, например, Сибирь осваивалась не только авантюристами (как любят это слово говорить европейцы), она осваивалась ссыльными, которые не заточались в скорлупу свою, а занимались изучением Байкала, флоры, фауны, создавали языки, создавали алфавиты. Мы ж совсем забыли о том, что все сибирские народы получили из русских рук свою письменность. Вот насколько в нас унизили наши национальные чувства! И я требую возрождения таких чувств, я хочу стать человеком, который стоит на своей земле, дышит своим воздухом, может вспомнить своих предков, отдать им должное. Мы всегда говорим, что «потомки нас не забудут...», но ведь мы-то — потомки, почему же мы забываем своих предков?!

...Сложное ныне у нас положение. Но что вы хотите, если мы столько лет повторяли, что мы родом... из Октября. Был такой у нас Покровский (академик, министр просвещения), который первый сказал такую чушь. История напрочь была отсечена, уничтожена, выведена из школ, из институтов. Только в 1934 году история (и то частично) стала возвращаться в учебные заведения. Вообще, если уж вспомнить, 1934, 1935 годы стали началом постепенного возвращения к национальным основам (к примеру, мало кто знает, что слово «офицер» восстановилось в 1935 году. И редко кто знает, что Новый год разрешили праздновать с 1935 на 1936 год — до этого празднование Нового года было запрещено).

Корр.: Кстати, с чем вы связываете вот такую заботу тогдашнего идеологического руководства о национальном самосознании народа?

Парпара: Сталин ведь понимал, что неизбежна война, он пытался оттянуть ее начало — он прекрасно знал, начнись она в 42-м году, она не была бы так страшна (например, развитие ракетной техники к концу 1941—началу 1942 года уже полностью было освоено). Сталин понимал: для того чтобы победить в грядущей войне, нужно единство в стране. Вот почему в это время уничтожалось инакомыслие. Сталин понимал также, что основная тяжесть падет на три народа — русский, украинский, белорусский. Потому-то и надо было вдохнуть силы самосознания и независимости в эти народы. Вот почему он порциями стал выдавать знания по истории. Цель, повторю, единственная,— напомнить, что мы — русские. Напомнить! Сталин, разумеется, одна из черных фигур русской истории, наряду с Бухариным, защищавшим в своих писаниях массовый террор, наряду с Якиром, проводившим в жизнь директиву уничтожения определенного процента населения страны. Однако «великий стратег», быть может, первым понял, что, если продолжать уничтожать народ в массовом порядке, кто же будет защищать эту землю, на которой он собрался царствовать. Стала нужна и крепкая армия, началась ее модернизация. И мы помним неожиданное обращение Сталина к русскому народу 3 июля 1941 года. Он потом вспомнил и Александра Невского, вспомнил и Суворова. Сразу начали учреждаться ордена Невского, Суворова, Кутузова. В критический момент он обратился к нашим историческим корням.

Корр.: В том памятном обращении к русскому народу он и начал говорить, как обычно священник обращается в проповеди: «Братья и сестры...», он и на этом сыграл.

Парпара: Он и был, кстати, недоучившимся священником: его выгнали из семинарии буквально за несколько месяцев до окончания учебы... Это к слову. Итак, в критические моменты идет обращение к русскому национальному самосознанию. И оно дает свои плоды. Из истории известно, что только Россия неоднократно спасала мир от самых страшных бед. Когда с востока двигались темные силы, Россия неоднократно принимала удар на себя (она перемолотила основную силу татаро-монгольских завоевателей). Когда с запада шли силы завоевывать мир — Наполеон ли, Гитлер ли,— опять Россия все это принимала на себя. Это — история! Почему Россия держится за православие? Потому что это одна из самых чистых религий в мире, одна из самых бескорыстных религий в мире! А бескорыстному человеку, который помогает утихомирить драку, попадает с обеих сторон. И нам попадает...

Только что мне пришла в голову мысль о

том, что русский народ стал заложником идеи сильного государства. То, что эта идея появилась на свет — благо, может быть, это одна из величайших мыслей, рожденных человечеством. Русский народ, его племена так часто были узурпированы более сильным противником, что в умах мудрых родилась идея защиты — создания могучего государства. Иван III воплотил эту великую мысль в жизнь. И на протяжении четырехсотпятидесяти лет государство поддерживали миллионы людей, жертвуя своим благосостоянием. И Россия крепла год от года. Это только потом она стала именоваться «тюрьмой народов» для того, чтобы через пятьдесят лет народ поразился спекулятивности этого сравнения и содрогнулся от правды настоящих тюрем и лагерей. И надо признаться, что Сталин эксплуатировал идею сильного государства так варварски, что сегодня она потеряла свою привлекательность и историческую ценность. Отсюда распад, смута, нестроение. И только через новые муки и страдания мы опять придем к мысли о едином государстве, сынолюбивом, и будем нести ему все лучшее на алтарь нашего могущества.

Корр.: Здесь вы, Анатолий Анатольевич, коснулись самой, быть может, больной темы, которая и меня волнует. «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия»,— общеизвестны сейчас эти слова Петра Аркадьевича Столыпина. Но что же это за сила такая, что противостоит национальному нашему возрождению, противостоит и противостояла? Сегодня ведь русофобия таким махровым цветом цветет, что уж просто не знаешь, как и быть-то — может быть, действительно,— русские — достойны, чтобы нас обливали грязью с ног до головы, что, может, мы заслужили все-таки это? Что за могучая сила сегодня продолжает русофобскую кампанию? Врагом перестройки сегодня называют бюрократа, но ведь все гораздо сложнее — не секрет ведь, что сейчас во многих наших сегодняшних бедах пытаются обвинить и масонов, и сионистов. И это упрощение, наверное, взглядов на нынешние проблемы, но что все-таки за враг нам сегодня противостоит, которому нужны «великие потрясения»?

Парпара: Тут, конечно, надо поразмышлять над этой темой. Она необъятна, и вы частично коснулись, даже назвали эти враждебные силы. Ведь что такое масонство? Дело в том, что средства массовой информации (особенно в нашей стране сейчас) пытаются сказать о масонстве как о какой-то призрачной силе, даже потешаются над этим. Но ведь лучший способ уничтожить здравый смысл — это иронизировать над ним. А ведь над этим иронизировать могут только ставленники масонства. Во всех цивилизованных странах уже давно общественность бьет тревогу, сталкиваясь с реальной силой тайных обществ. И только у нас полное молчание на эту тему. А раз молчание, то, значит, нет. Но так было и с мафией, и с проституцией, пока вплотную не столкнулись с великими проблемами, мешающими нормальной жизни общества. Но ведь масонство и у нас есть. Робкие сведения просачиваются и в нашу печать. Так о создании клубов «Ротари» сообщило в июне ЦТ, скромно промолчав об их истории. Ваша газета «Литературный Иркутск» в мартовском номере сообщила об этом клубе. В частности вы ссылались на польского журналиста Леона Хайна: «Ротари-клубы» — это низшая степень масонской иерархии, из которой рекрутируются кандидаты в члены масонских лож». Но если верить известному историку масонства Стивену Найту, то клуб «Ротари», как и клубы «Лайонэ», принадлежат к «привилегированным аудиториям» английского общества. Более того, когда печально знаменитый Личо Джелли готовил проект «бескровного переворота» в Италии, он создал «план демократического возрождения» (любят же они прикрываться высокими понятиями!): «Первейшей целью и необходимой предпосылкой операции является создание клуба (по однородности компонентов напоминающего тип «Ротари»), где были бы представлены на лучших уровнях деятели мира предпринимателей и финансов, представители либеральных профессий, общественные администраторы и судебные работники, а также очень многочисленные и отборные политические деятели, число которых не превышало бы 30—40 единиц». Так что можно поздравить советское общество с созданием в нашей стране, как было сообщено, в Москве, Ленинграде, Иркутске, Киеве клубов «Ротари». Наивные скажут: «Ну и что!» Таким

хочу привести предупреждающие слова Георгия Димитрова: «Часто общественность удивляется тому, что известные государственные деятели быстро и на первый взгляд без достаточных оснований меняют свои позиции по весьма существенным вопросам, касающимся нашего государства и нашей нации, или говорят одно, а делают совершенно противоположное.

Для поверхностного наблюдения это нечто нелогичное и совершенно непонятное. Для тех же, кто знаком с деятельностью разных масонских лож, вопрос достаточно ясен.

Указанные деятели в качестве членов масонских лож обыкновенно получают указания и директивы от соответствующей ложи и подчиняются ее дисциплине, что находится вразрез с интересами народа и страны».

Вполне понятно, что те, кому дороги интересы и нашего народа и нашей страны должны быть обеспокоены метастазами масонской опухоли на теле отечества.

Корр.: И если уж касаться масонства, или, как иногда пишут — иудомасонства, стоит лишний раз подумать, почему до сих пор нет подтверждений существования тайного всемирного еврейского правительства? Их и не могло быть, мы ведь не знали, что писали, например, исследователи этого вопроса за рубежом. Например, до сих пор в полном объеме не известны труды известного монархиста Василия Витальевича Шульгина. Между тем в Париже в 1930 году он выпускает книгу «Что нам в них не нравится...» с подзаголовком «Об антисемитизме в России». И вот что не нравилось Шульгину в евреях: «Не нравится нам в вас то, что вы приняли слишком выдающееся участие в революции, которая оказалась величайшим обманом и подлогом. Не нравится нам то, что вы явились спинным хребтом и костяком коммунистической партии. Не нравится нам то, что своей организованностью и сцепкой, своей настойчивостью и волей вы консолидировали и укрепили на долгие годы самое безумное и самое кровавое предприятие, которое человечество знало от сотворения мира. Не нравится нам то, что этот опыт был сделан во исполнение учения еврея — Карла Маркса. Не нравится нам то, что эта ужасная история разыгралась на русской спине и что стоила она нам, русским, всем сообща и каждому в отдельности, потерь неизрекаемых. Не нравится нам то, что вы, евреи, будучи сравнительно малочисленной группой в составе российского населения, приняли в вышеописанном гнусном деянии участие совершенно несоответственное. Не нравится нам то, что вы фактически стали нашими владыками. Не нравится нам то, что, став нашими владыками, вы оказались господами далеко не милостивыми; если вспомнить, какими мы были относительно вас, когда власть была в наших руках, сравнить с тем, каковы теперь вы, евреи, относительно нас, то разница получается потрясающая. Под вашей властью Россия стала страной безгласных рабов, они не имеют даже силы грызть свои цепи. Вы жаловались, что во время правления «русской исторической власти» бывали еврейские погромы, детскими игрушками кажутся эти погромы перед всероссийским разгромом, который учинен за одиннадцать лет вашего властвования! И вы спрашиваете, что нам в вас не нравится!!!»

Парпара: Дело, конечно, не в самом еврейском народе, и в типах, рожденных им. Помнится, я где-то читал слова Жаботинского, одного из идеологов сионизма. По аналогичному поводу он сказал: «Позвольте и нам иметь собственных негодяев». Естественно, что речь идет о таких негодяях, обладавших государственной властью, что усугубляет их вины. Теперь вы понимаете, что правда о нашей истории должна быть похоронена. Теперь вы понимаете, почему у нас было запрещено преподавание истории, почему до сих пор широко неизвестны имена Забелина, Алданова, Костомарова, Еловайского... Речь должна идти о геноциде против русской культуры.

Корр.: Ярко это проявилось по отношению к деятелям русской культуры, красноречив ведь лозунг — «Пушкина — с корабля современности долой!» А расстрелы крестьянских поэтов, гибель Есенина... Однако, возвращаясь к теме масонства, которая потому-то так интересна, что до сих пор нет у нас более-менее хороших исследований по этому вопросу, хотел у вас спросить о достоверности слухов принадлежности к масонству и

А. С. Пушкина.

Парпара: Я изучал этот вопрос. В дневнике Александр Сергеевич однажды записал, что 4 мая 1821 года он вступил в ложу (правда, вскоре порвал с масонами). Со мной, кстати, пытался спорить на эту тему поэт Евгений Храма, правда, спор этот касался отца великого поэта — Сергея Львовича — тот тоже был масоном, как и Геккерен; спор разрешился, когда я показал выписку из известного труда Мозалевского «Род Пушкина». Там указано, что Сергей Львович в 1814 году был принят в «Ложу Северного Щита». В 1817 году он уволился со службы и с той поры курсировал между Петербургом и Москвой (кстати, следя за своим сыном — великим Пушкиным). Александр Сергеевич очень недолюбливал своего отца за это. Поэтому и отношения между ними были сложные. Я думаю, придет еще время, когда мы докопаемся до источников и поймем, что смерть Пушкина была не из-за Натальи Гончаровой. Мне, например, кажется, что существовали политические мотивы этого убийства. Боюсь, что Пушкин обнаружил нечто такое, что собирался обнародовать...

Корр.: Кстати, образ Пушкина, наверное, и сформирован у нас людьми, которые, видимо, принадлежали к тем же силам, которые и сегодня всеми средствами пытаются разрушать Россию,— образ Пушкина-весельчака, гуляки... А ведь к концу жизни Пушкин сформировался уже, можно сказать, как христианин. Последние его работы, в частности, о народном воспитании, исследование, которое он делал по заказу царя,— уже одно оно показывает всем Пушкина зрелого, мыслящего глубоко и видящего далеко.

Парпара: О Пушкине как о государственном деятеле никаких исследований у нас пока нет. А ведь надо бы развить именно эти темы. Потому что глубоко мыслящий человек, совесть народа, не мог этот человек не мыслить по-государственному. А вот в исследованиях пушкинистов, к сожалению, этой темы нет. И человек, который смог бы заняться этим, совершил бы благородное дело... Вообще если рассуждать, делать какие-то параллели с днем вчерашним, сегодня нам многое становится понятным. Всегда были силы, которые не хотели сильной России. Сделаем краткий экскурс в прошлое, тогда вы увидите, что точно так же и Россия всегда старалась не допустить усиления, например, Франции при Наполеоне, всю жизнь периодически боролась с Англией, которая владычествовала на всех морях и владычествовала в политике. Я тут сразу же приведу любопытный пример, я сейчас занимаюсь историей 1812 года, и неожиданно открылся любопытный аспект — взгляд Кутузова на политику. К примеру, я и раньше знал такую туманную мысль, что вроде бы Кутузов не хотел гибели Наполеона. И он, действительно, и при Тарутино, и при Красном, и на Березине не давал возможности окружить Наполеона и уничтожить. В частности, при Красном вместо того, чтобы окружить войска Наполеона, он взял и на полтора-два дня дал отдых русским войскам. Я обнаружил любопытное признание в воспоминаниях генерала Вильсона, англичанина при ставке Кутузова. Оказывается, когда была битва при Малоярославце,— тоже некоторый такой затененный факт — вроде бы и русские побеждали, но от Малоярославца отошли на полтора километра и встали. И Наполеон тоже не пошел на сражение, а отступил на старую дорогу. Это был такой кризисный период. Генерал Вильсон потребовал немедленной окончательной битвы (как тогда шутили, англичане готовы бороться... до последней капли крови русского солдата). Так вот тогда Кутузов сказал, что он не хочет гибели Наполеона. Он хочет только изгнания его из России, потому что пени от победы над Наполеоном возьмет та страна, которая и так правит миром. Он имел в виду Англию. И, действительно, после того, как уничтожена была Франция как сильная держава, мгновенно возникла Австро-Венгрия (до этого времени это объединение не имело такого значения), и Австро-Венгрия отняла много крови у России, в течение ста лет это было государство, которое хитро, изворотливо вело свою политику, истощая силы России. Каждое сильное государство стремится противоборствовать усилению соседа. Так было, но мы

забываем, что сейчас происходит то же самое. И если сейчас Россия (СССР как новое образование) ослабла, то нужно подумать о внутренней силе — Америка не будет нам помогать, ей невыгодно это. Америку беспокоит сейчас могущество Японии в первую очередь.

Исторических примеров можно привести немало. Как-то однажды, беседуя с Леонидом Максимовичем Леоновым, я заметил его большой интерес к смутному периоду времени нашего государства. И интерес этот понятен: именно со Смутным временем сейчас чаще всего проводят параллель, анализируя нынешнее наше положение. Это интересный период. Еще тогда существовали силы, которые прямо или косвенно противодействовали нашему государству, некоторые беды были очень искусно подготовлены силами католической церкви, Иезуитским Орденом. Далеко не все знают, что Лжедмитрий I принял католичество, и редко кто знает, что он переписывался с Папой Сикстом V, который писал ему, между прочим, что «вы сейчас владеете великими территориями и должны собирать богатства с них», а проценты отдавать Богу (как тогда говорили, «пени»). И эти иезуитске силы собрали войска и с Лжедмитрием I и с Лжедмитрием II приходили на Россию. Например, Ян Петр Сапега говорил (это по свидетельству латинского пастора Бэра, который еще в 1612 году написал книгу о бедах Московии), что мы собственной силой посадили своего царя на русский престол и сейчас для второго царя завоевали уже половину России. («Пусть их лопнет досада, а мы будем делать то, что считаем нужным».) Так что в каждом конкретном случае на Россию обрушивалась очень мощная идеологическая и физическая сила. Я писал историческую драму об этом 8 лет назад. У меня там один из генералов — Минин — так говорит:

«Но если эта Смута, разоренье
И безначалье десять лет продлится,
Не сможет больше вынести народ.
Поднимется на власть, что унижает,
И выберет Болотникова вновь».

Эти строки были написаны в 83-м году, опубликованы в 88-м. И вот как раз Государственную премию я получил и за эту книгу тоже.

Корр.: Проводя параллель с днем сегодняшним, вопрос к вам: Болотников, кто мог бы быть им в настоящее время?

Папрара: Не дай Бог, чтобы был Болотников, поскольку Болотников — это лжегерой. Это человек, который куплен был польской знатью, иезуитами и был направлен к нам, на родину, как подниматель народа против русской власти, русского самодержавия, а точнее — против власти народной. Что касается сегодняшней обстановки, мне кажется, пока Россия будет иметь такие великие просторы, она всегда будет предметом завоевания. И до тех пор пока будет жив дух всемирной отзывчивости русских, пока будет жив дух независимости (а это — мощная сила сопротивления), Россия будет существовать как государство. Недаром много говорят о загадочности души русских — загадочность эта, конечно, духовная. Если б мы хорошо знали историю России, нам было бы легко разговаривать с другими народами. К сожалению, мы ее не знаем, и потому мы беззащитны. Вот почему я вспомнил слова Тютчева о том, что только история будет спасать Россию. Приведу еще маленький пример. Находясь в Братиславе несколько лет назад, я беседовал за столом в кафе с немцами, и один немец, обучавшийся в Берне, сказал об агрессивности русских. Я спросил его: «Уважаемый, вы хорошо знаете историю своей страны?» Он говорит: «Да, я имею высший балл в университете». Спрашиваю: «Скажите, пожалуйста, сколько раз Россия нападала на Германию, хотя бы за последние три столетия». Он говорит: «Не помню».— «Я вам скажу — ни разу! А сколько раз Германия нападала на Россию? Каждые последние три столетия нападала, и каждый раз мы входили в Берлин и каждый раз уходили из Берлина, оставляя государственность немецкую. О какой агрессивности русских вы говорите?!» И еще... Ведь никогда ни один из исследователей не пишет о том, что поляки завоевали Москву (вспомните Смутное время!), разворовали всю царскую казну, даже гигантскую статую

Христа, отлитую из чистого золота, поляки (сами христиане!) растащили. (Здесь я имею в виду армию польских наемников и не олицетворяю, естественно, с польским народом.) Однако сами же поляки (я бывал в Польше) с детского возраста говорят о России как о силе, которая долгое время владела польскими территориями, забывая напрочь о том, что было три раздела, в которых Россия, играла, быть может, самую слабую роль и никогда не имела уничижающих функций. Дело в том, что инициатором разделов было австрийское государство, а Россия, в частности, Александр I, думала о создании польского королевства — пусть под эгидой России, но с полной независимостью Польши. Никто ведь не знает о том, что республиканское правление было введено при помощи России на польских землях...

Корр. К стыду своему, и я этих фактов не знаю. Вообще, мне кажется, в исторической науке есть еще гигантский пробел — я имею в виду роль русских царей в укреплении России как государства.

Парпара: Вы правы. Послеоктябрьские историки зачеркнули всех царей. И если о комнибудь и рассказывали, то с позиции классовой. А это что такое? Говорили, что все цари глупые, жадные, корыстные, любящие запускать руку в народный карман. Но ведь это же не так. И вот маленький пример. Общеизвестно, что Брюллов написал портрет Жуковского, чтобы выкупить из неволи Тараса Григорьевича Шевченко. Однако никто не пишет и не говорит, что эту картину Брюллова купил сам царь. И еще неожиданный факт — купил он на собственные деньги, которые, кстати, отдавал частями — нужной суммы на руках сразу не было. Появились деньги еще, сразу отдал оставшееся. Вот вам и «казнокрад»! Нужно, нужно нам знать собственную историю. Сколько интересного и неожиданного откроется.

Вы заметьте, сейчас много говорят о демократии, но что такое «демократия», по сути, никто и не знает. И без нравственных устоев невозможно сейчас выстроить социальную справедливость. Для этого необходимо время. Вот любопытное высказывание Екатерины II: «Летописи прошедших времен доказывают, что государства, опустошаемые безначалием и лютостями, от оного происходящими, весьма опасны соседственным сторонам бывают. Кровавые междоусобия, разоряя области и города, ввергают народы в нищету и отчаяние, и отъемля личную и государственную безопасность, тем самым соделывают их мятежными и к браням склонными...» И далее она резюмирует: «Безначалие есть злейший бич, особливо, когда действует под личиной свободы — сего обманчивого призрака народов». Заметьте, Екатерина ссылается на Летописи прошедших времен, а мы уже спустя 200 лет ссылаемся на саму Екатерину — значит, это постоянно было, и то, что происходит сейчас в стране, это, видимо, следствие безначалия. Мысль, что постоянно приходит смута, когда ослабляется державная рука правительства, государственная рука, эта мысль присутствует и у древних, и у сегодняшних. Обратите внимание, сейчас забастовки регулярно идут как метод давления на правительство — по Польше это видно: ругали Ярузельского, когда он был руководителем партии, но потом пришла «Солидарность», а все равно идет повышение цен и все остальное. Значит, главное в таких делах лишь реформа, национальная программа. Вот национальной программы у нас нет, к сожалению.

Корр.: Анатолий Анатольевич, вы рассказывали о своих встречах с Леонидом Максимовичем Леоновым, по его мнению, что нас сегодня может спасти?

Парпара: Спасет, по мнению Леонова, только вера. Вера — это и христианская вера (имеется в виду опять же идеал соборности, идея объединения всех народов, идея братства). И все, что он вкладывает в слово «вера»,— это, конечно же, вера в собственные силы. Россию всегда в самые критические моменты исторического движения спасала вера в себя, более того — в последние столетия спасала не правящая верхушка, не царская и княжеская, которая была отягощена вещизмом, владениями, боялась потерять часть своего имения и потому вынуждена была объединяться с силами, которые шли против России (поневоле), а побеждали как раз те, кому нечего было терять, кроме сво-

ей земли и кроме детей своих. И, как кажется, в сегодняшней ситуации опять же надо обращать внимание на сам народ непосредственно, надо обращаться к простым людям, к крестьянам, к рабочим, обращаться к их здравому смыслу. Еще не все потеряно, не все разрушено. Я здесь не затрагиваю особой темы — темы генофонда. Ведь на протяжении многих тысячелетий — русский народ существует не одно тысячелетие — сколько было войн! Ведь только за 500 лет было 116 войн больших и малых. А в войнах, как правило, погибают самые смелые и самоотверженные — ведь надо защищать семьи. Сильные всегда идут впереди и сильные погибают. Остаются слабые. Потомство идет от слабых. Потом эти слабые становятся сильными. Вот какой заряд и генофонд у русского народа! Величайший! Ведь, несмотря на прошедшие тысячелетия, все равно мы с вами еще всерьез размышляем о боеспособности этого народа...

Я всегда удивляюсь детям в школе. У меня двое детей — дочь и сын (дочь закончила школу, сын сейчас пойдет). Сколько озлобленности там в школе, недоброжелательности! Ребенок приходит оттуда растерянным... Утром просыпается — ни одного пятнышка горя и обиды. Он идет снова чистым и свежим. Вот и русский народ — столько же чистоты, сколько в душе ребенка (хотя накипь остается, грязь словесная и всякая другая). Мы связаны со многими, но силы света в русском народе велики. И их надо развивать. Я никогда не забуду, как два года назад я был в Бельгии — там ведь есть уникальный Союз советских граждан. 14—15-летние девочки и мальчики, которых гитлеровцы увезли во время оккупации, волею судьбы женившиеся и вышедшие замуж за бельгийских граждан, они не приняли бельгийского гражданства. Они до 1956 года сохраняли советское гражданство. Их унижали, их не признавал Советский Союз, а они не могли занять никаких должностей в государстве только лишь потому, что они не были гражданами Бельгии. И вот они сохранили советское гражданство и слабыми, немощными силами помогали друг другу выжить. И когда два года назад я приехал в Брюссель и попал на их сбор, и когда я вдруг услышал, как они поют уже голосами с акцентом «Подмосковные вечера» и «Ты не вейся, черный ворон», (я сентиментальный человек) я разрыдался там. Значит, есть что-то все-таки генное, что связывает этих людей с нами.

Корр.: И нужно, как мне кажется, сейчас собирать все русские силы для того, чтобы возродить Родину.

Парпара: И я снова с вами соглашусь, видите, как много у нас с вами общего. Русское рассеяние, несомненно, нужно собирать. И когда мой друг Валентин Сидоров объявляет лозунг «Русские всех стран, соединяйтесь», я только присоединяюсь к нему. Вы посмотрите — Китай! Как сильно помог он своей экономике только тем, что никогда в жизни не отстранял от участия в жизни страны своих сыновей, живущих за пределами Китая. Среди китайцев немало блистательных бизнесменов. Среди русских, живущих за рубежом, быть может, не так много таких в силу хотя бы того, что христиане никогда не занимались чрезмерным накоплением денег. Это, кстати, свойство национального характера. Но тем не менее многие русские сохранили национальное достояние — картины, рукописи, архивы потрясающие. Уже одно это сейчас имеет величайшее значение для будущего России. Так что идея объединения всех россиян — это прекрасная идея. И наше Русское Историческое Общество будет этим заниматься. Мы ведь действительно ходим, можно сказать, по золоту. Если издать русскую историю, если издать русские исторические архивы или хотя бы даже переиздать то, что было сделано Русским Императорским Историческим Обществом, это будет прекрасно. Во всем мире сейчас величайший интерес к России, к ее истории. И на одних этих изданиях мы имели бы величайшую валюту. Однако пока что наши советские издательства этим не занимаются. А занимаются этим издательства: Гааги, Брюсселя, Белграда, выпуская блистательные тома с золоченым тиснением, таким образом зарабатывая валюту. Мы сами обесцениваем свое прошлое, с одной сторо-

ны. А с другой, упускаем возможность иметь те самые деньги, ту самую валюту, о которой мы мечтаем, продавая наши нефть и газ. Мы за счет издания книг можем иметь минимум половину той валюты, которая нам нужна.

Корр.: Да, это было бы разумным. Однако видим сегодня совершенно другое, видим бесхозяйственность, равнодушие, видим намечающийся распад Союза — идет кампания по отделению некоторых республик от Советского Союза.

Парпара: Россия, как и всякий магнит, привлекает к себе только тогда, когда это притяжение сильно изначально. Когда оно ослабевает в силу разных причин, каждая республика, каждый народ думает о своей выгоде. Кажется что республики могут быть самостоятельными, но мы ведь связаны такими сложными переплетениями, столько артерий проходит от нашего сердца к сердцам этих республик, что перерезание их может нанести непоправимый вред здоровью этого же народа (допустим, литовского). Но, как часто бывает, в какой-то определенный момент разум уступает силе эмоций, и сейчас эмоции побеждают. И если б можно было провести какой-то эксперимент и отделить — я бы, наверное, разрешил это отделение, дай мне такое право, однако на горьком опыте последующей жизни народ бы убедился, что исторически сложилось так, что отделение невозможно.

И идея сегодняшнего дня заключается в том, чтобы Россия снова становилась сильным государством — когда старший брат помогает своим братьям, отдает все (яркий пример — король Лир раздал все свое государство и оказался выброшенным), рождается иждивенчество, оно плодит отрицание. Россия должна быть сильным государством. Когда в 1856 году Россия потерпела поражение от европейских сил в Крымской войне в Севастополе, тогда канцлер Российской империи князь Александр Михайлович Горчаков (кстати, соученик А. С. Пушкина по Лицею) произнес знаменитую фразу — «Россия поворачивается спиной к европейским проблемам и сосредоточивается». Вот сейчас России необходимо такое сосредоточение. Мы слишком занимались мировыми проблемами, а сейчас нужно сосредоточиться, разрешить свои внутренние проблемы, и тогда снова можно будет выходить на мировые проблемы. Мы должны отказаться от термина «Советская Россия», а должны вновь вернуться к термину «Россия» — Россия как образование, как общность многих народов, проживающих на территории. И, значит, снова нужно вернуться к русскому языку как языку межнационального общения. Вот поэтому так нам сейчас необходимы источники массовой информации. Нужно снова показать, что русская песня — это органичная песня. Мы должны иметь полное право говорить на чистом русском языке. Не на советском, на котором говорит Всесоюзное радио и телевидение, а именно — на русском. Надо вернуться снова к истокам русского языка. Кстати, вот почему когда мы говорим, что журнал «Москва» опубликовал «Историю Государства Российского» Карамзина, тем самым показал настоящую историю. Но мы ведь опубликовали еще и сам русский язык, а Карамзин писал удивительным языком, самовитым, со всеми оттенками этого языка. Мы забыли слова «на благо Родины своей», мы забыли многие, многие слова, надо вернуться к этому. Нам сейчас нужно думать о серьезной партии. Может быть, не марксистской. Это должна быть партия Национального Возрождения. Это мое глубокое убеждение.

Беседу вел журналист
Александр Шахматов.



Олег Димов

СЛАВКА

РАССКАЗ

На окраине города, в кирпичном флигеле еще той кладки, которую если рушат, то взрывчаткой, находился охотничий магазин. Место тихое, в солнечном дворике, от города укрыто стеной многоэтажек, развернутых подъездами к центру.

Славка приходит рано, из подвала выносит дворницкий инструмент, курит на штабеле темных бревен, шаркает метлой по асфальту, звенит ведром. Он высок, мосласт, с рыжинкой по волосам и неуловимой синевой в глазах, не всегда выбрит, одет в неопределенного цвета рабочий костюм и кирзовые сапоги; на затылке большой всклоченной головы, как черная пуговица, прислюнявлена засаленная кепочка. У завсегдатаев охотничьего магазина Славка считается парнем с чудинкой.

Однажды ему пообещали рублевку, если сбегает за пивом. Славка до икоты хохотал, катаясь на бревнах и повторяя: «Тухлая вода в бутылках...» А как-то у хромого Петровича спустило колесо «Запорожца». Пока доставали домкрат, Славка склонился над машиной, его руки, как телескопические захваты, вышли из рукавов куртки и снова втянулись. Машина, заскрипев всем кузовом, поднялась, мужики переглянулись, подсунули чурку, и кто-то, кивнув на Славку, крутнул пальцем у виска.

Магазин был чем-то вроде клуба городских охотников. Здесь обсуждались новые марки оружия, породы собак, виды на погоду. Председательствовал Фома Фомич — завмаг и он же продавец. В прошлом — известный охотник, но годы взяли свое, а пуще, как он сам выражался, «геморроидальный отросток и секлироз головы». И остались только воспоминания, которые из-за «секлироза» в очередном изложении имели очередной сюжет. Председательское кресло Фоме Фомичу обеспечивало знакомство с династией знаменитых промысловиков Белимовых, а с патриархом рода он находился в большой дружбе. Когда-то Белимовы лоцманили на Витиме, сплавляли барки с товарами через пороги ходили до бодайбинских приисков, зимой охотились. Новые дороги, мощные машины, авиация разгрузили Витим, он перестал быть кормильцем Севера, и Белимовы переключились на промысловую охоту.

— Сам-то Иван часто зовет меня,— напоминает при случае Фома Фомич.— Промышляет еще. Семьдесят пять годов ему, а оглоблей не перешибешь. Если бы не мой отросток...— хлопает себя ниже спины, с презрением осматривает полки магазина, на которых чего только нет: от волчьих капканов до сачков для ловли бабочек.

— Вот у кого собаки! Свое гнездо держат, со стороны кровь не допускают. Соболя, белку лудят, только щелкоток стоит по тайге. Зверя на отстой поставят, как привяжут. Не бросят, а то и сами столкнут вниз, приходишь — стрелять не надо. Как-нибудь соберусь, по-

проведаю старика.

А если появляется дефицитный товар, то Фома Фомич походя бормочет:

— Надо не забыть: Ивану оставить. Иначе как же.

А то кто-нибудь и напомнит:

— Ты Ивану-то оставил?

Хотя ни самого Ивана, ни кого-либо из Белимовых городские охотники и в глаза не видели. Но кто из них не мечтает о такой вот дружбе с настоящим промысловиком из глубины, к которому можно податься в отпуск? Помотаться в тайге со зверовыми собаками и винтовкой по хрусткому снегу, чтоб звонкое эхо собачьего лая металось меж белых сопок, шелестели лыжи и собственное дыхание со свистом вырывалось из легких. Добыть не добыть, но пережить азарт погони, подышать воздухом первобытной страсти, отряхнуться от городской мишуры, забот, разговоров, померзнуть у костров, погонять вечерами чаи в зимовье. Это не уток искать по болотам или двадцатью стволами караулить на номерах загнанную козенку.

Иногда заходили случайные, робко спрашивали японскую леску, а то и намордник для декоративной собаки. Охотники ухмылялись, шли курить на бревна. Закончив уборку, к ним подсаживался Славка, крутил в газету махру, слушал, про себя чему-то улыбаясь, вдруг, в самый драматический момент рассказа, закатывался беспричинным смехом.

Здесь, на бревнах, первым авторитетом был Остапенко, лысый, с брюшком майор в отставке, владелец «Жигулей», пятизарядного браунинга МЦ-21 и пестренького, с шерсткой в кольцо, спаниеля, который доставал даже утонувших уток.

— Камыши по плечи, я отстреляюсь, подниму Пирата над головой и говорю: «Пират, подай, там она...»

— А Пират спрашивает: «Где?» — вставляет Славка и заходится смехом.

Мужики прячут улыбки, чтоб не обидеть Остапенко.

— А вот случай был: по кабарге отсалютовал, и гильзу раздуло. Не могу вынуть, а она шагает в горы, снег кровянит. Я к ней, она от меня. Я стану, она станет. Что тут делать?

— А вы бы ей аркан на рога,— советует Славка.

Мужики хохочут, всплескиваются голуби, испуганно бьют крыльями. Хромой Петрович объясняет Славке, что кабарга — безрогая.

— У тебя, Славка, стиральная машина есть? — спрашивает отставной майор.

— Но.

— Вот чем здесь ржать, лучше бы за ней приглядывал. А то наставит рога.

Мужики веселятся. Петрович неодобрительно покашливает. Он не любит, когда начинают травить Славку. А Славка внимания не обращает, на все подначки отвечает с добродушной простотой и хохочет вместе с мужиками.

— Спокойный ты, Славка,— говорит Остапенко.— С твоими рычагами вручную сталь прокатывать, а ты метлой пыль гоняешь.

— У нас в родове все спокойные. Это, паря, мы в деда. Он, бывалочи, на сенокос придет, литовку возьмет, на кочку сядет и весь день просидит. До того спокойный, аж ленивый.

— И большая ваша родова?

— А, почитай, полдеревни.

— Это, наверное, легендарная Голобоковка,— усмехается Остапенко,— которая ничего не производит, а пьет за всю Россию.

— А спаниель-то ваш только уточит?

— Идет по всей водоплавающей.

— А если соболя или кабана? С другой собакой идти? — и Славка хохочет, загибая пальцы.— Одну — на зайца, другую — на птицу, теперя третью — на белку. Этак штук двадцать надо держать. Они же самого съедят.

— А ты как думал? Для всякой дичи — своя собака. Вот ружье только одно. А ты, Славка, из ружья-то хоть стрелял? — спросил Остапенко.

— Из ружья? То как же, раз двадцать бахал. А последний раз как стрелил, так по всей деревне деньги занимал...

— Ты его никак червонцами зарядил? — Остапенко похлопал Славку по плечу, подмигнул мужикам.

— Какое там червонцами — сотенными. Кабаны за деревней повадились в

овсы ходить, я решил ночью скараулить. Сижу, паря, темнота, лешак ее возьми, а они прут. Впереди секач — ровнехонько с русскую печь — похрюкивает, язва, я его и жгнул с обоих стволов. Захорчал, слышу, угнездился в кустах. Лежи, думаю себе, до зорьки. И сам прикорнул. А утром глянь с мужиками, у него бирка в ухе: гордость района с нашего свинарника.

Голуби, присевшие было у баков с пищевыми отходами, снова заметались над двором от хохота на бревнах.

— Только вечер, он, язви в душу, поднимает плетень рылом, чушек выпустит и ведет в овес. А утром таким же макаром в котух запускал.

Остапенко предлагает Славке сигарету, снова подмигивает мужикам.

— Веселая у вас деревня. Дай-ка махорочки побаловаться. Иногда люблю на охоте ею комаров погонять,— умело вертит самокрутку, мужики тоже тянутся к Славкиному кисету.— Ну а медведя приходилось встречать?

— Каво, каво, а этих насмотрелся. Они у нас за поскотиной как по бульвару шлындают. Да все парами, парами.

— Да что ты говоришь! Хоть жить приезжай в твою Голобоковку.

— А че, приезжайте,— приглашает Славка.— У нас, паря, браво.

— А медведи?

— А что они? Ходят себе сторонкой. Ну, который и попужает. Нынче зимой приехали шабашники школу строить, один пошел на лыжах поче-то в лес. А навстречу медведь шагает. Так он, как был в лыжах, так и залез на елку...

Речь у Славки плавная, слова растягивает. Иногда только беспричинно расхохочется, и невозможно понять, над кем или над чем.

Слово за слово, и разговор снова завертелся вокруг охоты, дичи, оружия. Славку оставили в покое. Он сидел, попыхивал самокруткой, по привычке осматривал двор.

— Скоро лист пойдет, подвалит мне работы,— пробормотал он, заглядывая на верхушки тополей.

— Сначала утка пройдет, дожди отсентябрят, а потом уж лист тронется,— заметил хромой Петрович и грустно добавил: — а у меня Валетик прихворнул. В ветлечебницу возил, сказали, что старческое.

— Сколько ему? — спросил Остапенко.

Петрович не ответил, поднялся, захромал к «Запорожцу».

— Так ты в субботу с нами не поедешь?

Всовывая в проем негнущуюся ногу, Петрович отрицательно помотал головой.

Август поспешно раздавал остатки летнего тепла, закатывался, чтобы, вылившись в сентябрь, дождями, утренними заморозками, падающим листом настроить дворников на грустный лад, жилищников на думы об отопительном сезоне, горожан подготовить к очередному походу на поля подшефных совхозов. С севера потянулись табуны уток, стороной обходя город, над которым, словно хлопья сажи, сновали обеспокоенные стрижи, падали на окрестные озера и болота.

Компания Остапенко для выезда на охоту собралась у магазина. Славка, как всегда, прежде чем приступить к работе, курил на бревнах. Перед ним выставка сияющих лаком машин, блестящего стволами оружия, разномастных собак, охотничьих костюмов. Прижавшись щекой к черню метлы, он смотрит на оживленную суету. Здороваются, закуривают дорогие сигареты, припоминают, что забыли взять, сколько бензина в баках, хватит ли патронов. Выбриты, говорливы, прохаживаются, хлопая голенищами болотных сапог.

Из синенькой коробушки на колесах выпрыгнула девица, стала прогуливать вдоль бревен спаниеля. Затянутая в тренировочный костюм так, что рельефно проступали каждая складка тела и каждый шов на белье, она косила изпод челки глазами на Славку, что-то выговаривала песику. А Славка и не скрывал, что изучает все ее выпуклости. Но ее это мало беспокоило. Ей что: сядет и уедет, а ему после них собирай окурки. Ему шаркать метлой а ей мягкое сиденье, музыка и шоссе, долгие мужские взгляды и всеобщее внимание. Если бы Славке с ними! Добыть не добыть, но посидеть с ружьем на

зорьках, когда тянет утка, скошенным полем пройти к стогу соломы, зарыться, уснуть. Обездумиться, надышаться осенью, насмотреться на леса. Не спеша походить между деревьями, топча шуршащий лист, а не метлой его гонять по асфальту. А вечером у костра слушать байки охотников и хохотать, хохотать...

Подъехал Петрович, обхромал мужиков с рукопожатием, его о чем-то спросили, махнул рукой, полез, приволакивая ногу, к Славке на бревна сразу пожаловался:

— Сдох у меня Валетик.

— Стоящий пес был?

— Стоящий не стоящий, а был. Помесь лайки с балалайкой, но работал. Где на крыло утку поднимает, где подаст, бельчонку лаял, рябков гонял. А теперь куда я без него, с моей-то ногой. Хоть посмотреть, как другие табунятся. А я еще загадал: думал, если одыбает Валетик, тебя с собой позвать. Вон, посмотри: Остапенко даже колотит от азарта. Места не находит. Это — волк, по звуку лета узнает, какая утка под выстрел тянет.

— Точно бы меня с собой взяли?

— Памятью усопшего Валетика клянусь.

—Валетик-то сдох.

— Сдох Валетик. А вон та — дочь Остапенко,— Петрович кивнул на девицу.— Тоже садит, будь здоров. Стендовой стрельбой занимается. И по тебе постреливает дуплетом из двенадцатого калибра.

— Глазищи, что у комолой коровы. Вот бы с такой недельку поуточить в шалаше на берегу.

— Хочешь, познакомлю?

— Куда мне: ни кожи ни рожи.

Петрович удивленно посмотрел на Славку, оглядел его несладкую, но крутого замеса фигуру, длинные руки, обхватившие черень метлы, которые в запястьях были чуть уже, чем в ладонях, хмыкнул.

— Мужик ты видный.

— Уж я бы, паря, ее не обидел. Правда, немного пообтощал на городских харчах.

—Тебя как в город занесло?

— Сеструха у меня здеся. Поджени лась и утянулась из деревни. Мужик уманил: там ему брательники мозги вправляли — я-то смирный,— а здесь воля, натоптал лыжню в магазин, где бабьи слезы продают. Она его только выгнала из дома, как ее на операцию положили. А у нее два огольца. Меня родня и нарядила за ними досматривать. Я из брательников один неохомученный. Вот и вытираю им сопли да обстирываю. А его-то раз и видел: пришел права качать, пацанов напугал. Сам не захотел руками, я ему помог головой дверь открыть. А к метле дядя Фома по знакомству пристроил. Каво без дела-то сидеть.

Машины, одна за другой, трогались. Славка и хромой Петрович провожали их взглядами и были сейчас чем-то схожи: одинаково сутулились, и в глазах у обоих печаль, как будто их поманили на веселый праздник, но в последний момент не взяли.

— Жалко, что Валетик сдох,— сказал Славка.— А у вас квартира или хозяйство.

— Свой дом. Боровок, куры.

— Это хорошо: собаку есть где держать. Ладно, надо окурки метлой косить да идти пацанам обед гоношить.

В понедельник Фома Фомич открыл магазин по расписанию: ровно в десять, и сразу собрались неработающие завсегдатаи — отставной Остапенко, пенсионеры. Все хотели рассказывать и никто не хотел слушать. Каждый считал, что самую жирную и самую нежную, самую крупную утку, пытавшуюся пересечь пределы области, сбил он. Один Фома Фомич важно помалкивал. Может, не сомневался, что ему на обед подана старухой эта утка. И когда подъехал Петрович, выяснилось, почему он неприступен.

— Иди сюда, черт хромой,— позвал его Фомич. Одно обращение уже предполагало, что скажет Петровичу такое, после чего тот и обижаться забудет.— Жди меня до перерыва. Поедем за собачкой. Я тебе собаку достал — всем собакам собака.

— Как Валетик?

— Твой Валетик из ее шерсти блох не достоин был выкусывать. Из белимов-

ского гнезда. Соображать надо. Внук Ивана в городе, но скоро уезжает, просил приехать, забрать.

— Везет же людям,— сказал со вздохом Остапенко.— Не мог мой Пират сдохнуть или костью подавиться.

— Ты говорил, что только покажешь, где утка упала...

— Я и сейчас говорю. Но сначала нужно раздеться, залезть в воду, подплыть к ней, взять в руки и показать. Потом достанет.

За собакой поехали на двух машинах: всем хотелось оценить ее, а больше взглянуть если не на самого патриарха рода Белимовых, то хотя бы на его отпрыска.

А отпрыском оказался Славка, встретивший их у калитки. Поздоровался, провел мужиков во двор. Закурил, неловко молчали, переглядывались. В куче песка рылись куры, с ними ребенок лет четырех. Другой, постарше, что-то шил под дощатым навесом, где висели сети, на верстаке лежало несколько пар унтов из камуса, сапожный инструмент.

— Ты пошто через край-то шьешь?— окликнул паренька Славка.— Я же тебе показывал. Волчьим прикусом стегай, головку морщинь, а след растягивай. Ты пошто, паря, такой дыроголовый. И что из тебя получится? Ончуры себе ладит,— объяснил Славка.— На каникулы собирается прилететь, зайцев петлями ловить. Пойдемте, собак покажу,— повел мужиков к загородке в углу двора.

Остапенко задержал Фому, и когда приотстали, сердито выговорил:

— Не мог раньше сказать, что Славка — из Белимовых.

Две черно-белые лайки, уже не щенки, но и не заматеревшие, умными глазами под треугольниками ушей настороженно рассматривали чужих. Отталкивая друг друга, влажными носами тянулись к Славкиной руке.

— Русско-европейские лайки! — выдохнул Остапенко.— Судя по масти и экстерьеру.

Славка пожал плечами.

— Может, мать их была, как вы назвали. Я в прошлом годе в тайге зимовья чинил, а по реке аккурат туристы спускались, сказали, что сучонку потеряли. А потом, дня через три, думаю: каво это моя собачня лает? Кобеля отвязал, он ее и привел ночью. Отъелась, заработала лучше моих: я изпод нее двадцать соболишек взял. Потом двух щенков народила. В деревню по весне вернулся, дед меня с ними и погнал со двора. Сучонку-то разрешил оставить — рабочая,— а этих вот ни в какую. Я с собой и прихватил, чтоб он там не порешил их. Выбирай,— повернулся Славка к Петровичу, который не дыша смотрел на собак.

— Да какую сам дашь.

— Тогда суку бери, они старательней и раньше работать начинают, чем кобели. Иди сюда, Ветка,— выпустил, почесал ей за ухом.— Повезло тебе, может, поживешь. А у нас собачня не заживается: то с отстоя зверь столкнет, то в берлогу залезет, а неровен час, и волки прихватят.

Перешли под навес, расселись, уходить не спешили. С любопытством присматривались к Славке, который попрежнему иногда всхохатывал, но смех его теперь казался другим, за ним что-то крылось, да и в Славкиных глазах проглянулось мужикам лукавое добродушие. И хорошо было сидеть на чурках, вдыхая запах струганых досок, выделанных шкур, перебирать сети, блескучие от ноготков присохшей чешуи. Остапенко не спускал глаз с унтов, взял один в руки, долго вертел, проверял швы, оглаживал жесткий мех.

— Гарные черевички. На продажу шьешь?

— От скуки. Сети вот привез, латаю. Новых подвязал, да нитки покончались.

— Я тебе достану,— быстро сказал Остапенко.— У меня дочь Лэська на камвольном работает. Да ты ее бачил с бревен. Вот бы ей такие. Сколько за пару берешь?

— За так сошью. Ногу только обмерить нужно.

— Как же так? Они денег стоят.

— Это здесь,— сказал Славка, усмехнувшись.— Мать в таких ходит в стайку, а в клуб, для форсу, валенки надевает. Ниток передашь через дядю Фому или железяку какую. У нас, паря, беда с этим. За цепи к пилам, винты к лодкам, ремни для снегоходов, бензин — соболишек кусочникам отдаем. А куда деваться: зажилишься — совсем без про-

мысла останешься. Раньше на оленях промышляли, а теперь их нет. Оленеводы перевелись в оленееды.

Ветка, набегавшись, прилегла, открытой пастью хватала воздух. Счастливый Петрович не спускал с нее глаз. Он даже рассмеялся и, чтобы скрыть причину, объяснил:

— Вспомнил, как он нас дурачил. Из ружья двадцать раз стрелял, а сам охотник.

— Примерно так. Пушнину-то мы промышляли с тозовкой, зверя — с карабином. Какой же я охотник?

Разве Славка охотник? У него и ружья нет, и яркой коробушки на колесах, и собаки кудрявенькой с ушами до земли, какую на поводке водила вдоль бревен та девица... Славка хохотнул. Наверное, представил, как Лэська, затянутая в тренировочный костюм, прогуливает за поскотиной его зверовых псов. И загрустил, завистливо поглядывая на мужиков. Им зимой коз и зайцев караулить на номерах, а между загонами травить байки у костра. Ему же гоняться за собачьим лаем, мокрея одеждой от пота, а байки рассказывать самому себе. И у костров корчиться не от смеха, а ночами под телогрейкой. И если случится похохотать, так только над собой, припоминая, как закочерил глаза на берег и в талец с головой угруз. И так к весне избегается в недосыпе и недоеде, что останется от него только нос на лице да костяк под изопревшей одеждой. Такая стоклятая работа у Славки.

А мужики уважительно помалкивали. Фома Фомич ревниво поглядывая на них, спросил о здоровье Ивана-патриарха, которому собрал посылку и отправит со Славкой. И мужиков прорвало: заобещали прислать железяки к технике, сетевые и посадочные, веревку на тетивы. Каждый, оказывается, что-нибудь имел или мог достать. Петрович до того расчувствовался, что пригласил Славку на карасевую рыбалку.

— Там и мерку с Лэськи снимешь. Шагу мне не дает ступить. Я к машине, она уже в ней.

— Снимет, — подтвердил Петрович, пружиня губы, окутался облаком махорочного дыма.

— Место такое, что если раз побачишь — сниться будет. По берегам камыш, а вода как неживая. На зорьке удочки забросишь, и глаза к поплавкам присыхают. Тишина... А можно и сетешку запустить.

— А ну ее к лешаку, — отмахнулся Славка. Посмотрел на сети, выпутал из ближней несколько щепок. Другому бы работа на четверть часа.

— Ловко это у тебя получается, — с восхищением сказал Петрович.

— Небось будет получаться, если за день по сто штук перетрясать. Меня батя вот таким начал натаскивать, — Славка кивнул на паренька, — а ученье вбивал шестом: чуть обмишуришься — по горбу. Вечером они с дедом Иваном спать падают, а мы с брательниками сети на вешалах перебираем. Где на ощупь, где вприглядку. Нынче без меня отрыбачат, — Славка довольно хмыкнул. — Мы по осени рыбу заготовляем, когда она из притоков катится. По воде шуга, пальцы крючьями, из носа течет. А ее в сетях — чуть не в каждой ячее. День ловишь, ночь — солишь, язви ее, эту рыбалку договорную.

— Подивиться бы. А я тебя на карасей маню. За утро десяток.

Привалило Славке счастье. Озеро в камышках, поплавки на воде розовой в зористом утре. Поймать не поймать, а посидеть на берегу. Мерку снять...

— Куда же я от своих огольцов? Сеструха когда еще выпишится из-под ножа. К промыслу бы ослобониться. Однако вы к нам приезжайте.

— Время магазин открывать! — спохватился Фома Фомич. Заторопил мужиков: — Славку заговорили, а младшой вон в штаны наплавил.

— Мы с Лэськой заскочим к тебе на примерку, — Остапенко неохотно поднялся.

— Ты нигде не обробеешь, — пробурчал Фомич.

Мужики почтительно распрощались со Славкой за руку, он сам подсадил Ветку в машину. Она беспокойно повизгивала, тянулась к нему. Потрепал ей загривок, успокаивая, что-то шепнул на ухо. Может, о том, что у нее все будет, о чем ему так мечталось: мягкое сиденье

в машине, зори на озерах, камыш, утки, зайцы, прыскающие в кусты, и азартный покрик загонщиков. Возможно, она доживет до старости, потому что не изработается. Ей не пластаться в потяге за соболем, не мерзнуть ночами в снегу, не голодать сутками, удерживая зверя на отстое, не отбивать Славку у медведя. Не случилось ей стать промысловой собакой.

И жалко Славке стало Ветку. Словно предал ее.



Областное литературное объединение

Стихи нынче пишут многие, если учесть, что имеется еще и авторская песня, соблазнившая сотни самодеятельных стихотворцев; и когда у сочиняющего нет изначального тщеславного расчета, как нет и студеного умствования, когда стих, как простой, но чистый и печальный вздох,— в этом случае пишущего можно понять, можно даже ему поклониться, каким бы шершавым, полуграмотным, самодеятельным ни был его стих. Конечно, было бы прекрасно, если бы слово было вровень с чувством Любви к ближнему, — но это была бы уже самая высокая поэзия, близкая к молитве. Страшнее, когда за ловким словом или холод пустоты, или лукавство.

При добром, душевном сочинительстве стихотворца, даже слабого в слове, конечно же, можно понять именно потому, что душа его требует поэтического выражения вообще, ибо не имеет теперь выражения в гениальном устном народном слове (в былине, песне, плаче, девичьем страдании, в сказе, сказке, бывальщине, частушке). Благо великое, что может она, душа, и теперь выразиться в Христовой молитве, в православном обряде, прикасаясь к Высшему Свету Любви.

Тут я сказал о начинающих поэтах, пусть неловким и корявым словом начавших с душеписания — с откровенного, исповедального душеписания. Но таких, к сожалению, очень и очень мало, а много ловких и бойких в слове, или умствующих с прохладной душой, или, подменяя журналистику, социально неистовых, или — хуже того — проповедующих сатанинский индивидуализм, гордыню, моральную вседозволенность. Таких, повторю, к сожалению, больше.

В юности, скажу по своему опыту, нам бывает свойственно выдумывать себя, наряжаться в эдакие туманно-романтические печоринские или вызывающие грубые, отдающие нигилизмом, базаровские одежки. Знавал я таких, были даже и «Печорины в юбках», и «Базаровы в платьях с декольте», чаще всего с университетской скамьи, приносящие на литературные вечера свои заветные тетрадки со стихами. Всякие бывали. И ничего тут трагического может и не быть, когда все эти маскарадные одежки, взятые напрокат из светской и разночинной литературы, слетят с тебя, как пожухлая листва, когда души твоей коснется свежий и чистый ветер Любви к своему ближнему, к своему народу, к Отечеству, которому ты присягнешь на вечную и верную службу.

Прекрасно о лиризме русских поэтов сказал Николай Гоголь в своем вершинном по духовному взлету, мудром произведении «Выбранные места из переписки с друзьями»: «Вновь повторю то же самое: в лиризме наших поэтов есть что-то такое, чего нет у поэтов других наций, именно — что-то близкое к библейскому — то высшее состояние лиризма, которое чуждо увлечений страстных и есть твердый взлет в свете разума, верховное торжество духовной трезвости. (...) Наши поэты видели всякий высокий предмет в его законном соприкосновении с верховным источником лиризма — Богом, одни сознательно, другие бессознательно, потому что русская душа, вследствие своей русской природы, уже слышит это как-то сама собой, неизвестно почему. (...) Перечитывай строго Библию, — наказывал Гоголь Языкову,— набирайся русской старины и, при свете их, приглядывайся к нынешнему времени».

Думается, что слова Николая Гоголя, сказанные о русском лиризме, и сегодня не устарели, и теперь могут быть полезны и поучи-

тельны начинающим, да и не только начинающим, русским поэтам.

Многие стихотворцы, так или иначе посещающие областное литературное объединение, уже печатали свои отдельные подборки стихов и даже выпускали сборники; теперь же хотелось представить тех, кто еще почти не знаком читателю иркутскому, и стихи, предложенные альманаху, не есть, наверное, что-то избранное, законченное и совершенное, но они дают представление о самом литературном объединении.

Анатолий Байбородин,
руководитель областного литературного объединения

Катерина Гончарова

□ □ □

Какое утро отцвело!
И сколько радуг отсверкало!..
Я знаю только лишь одно,
Одно сияние Байкала.
Ему я верю одному,
Приснится полночью черничной —
То, значит, к счастью моему!..
Подобно песне, песне птичьей,
Переливается, зовет!
Вполнеба пламя вырастает!
И только ночью исчезает,
А только ночью в снах живет.

Л. Лабазина

□ □ □

Слаще меда та печаль, от которой — радость.
Лес осенний, привечай и — сними усталость.
Грусть чуть тронет мне глаза, осень — не утрата,
Это чистая слеза, летняя расплата.
Лес теряет свой наряд — вот вам и букеты!
Листья под ноги летят, песни лета спеты.
Отчего же листопад радость людям дарит?
Отчего осенний клад за собою манит?
Доброты на всем печать и — душа богаче!
Слаще меда та печаль, от которой плачу.

Борис Виноградов

БОГОРОДИЦЕ

Святая дева, символ Мира,
Надежды символ и Любви,
Поэта служит тебе лира,
Лишь вдохновенье призови.

Тебе, Праматери России,
Владычице людских сердец,
Молитвы люди возносили,
Преподнесли златой венец.

Тебя потомки прославляют
В молитвах, песнях и стихах,
Никто тебя не забывает,
Твой образ жив в людских сердцах.

О Богородица Святая,
Ты — Дева вечно молодая,
Ты Спаса людям родила,
Что спас весь род людской от зла.
Прими и мой поклон отныне,
Молись за грешных нас.
Аминь!

Александр Обухов

В ИЗБЕ

Здесь слышится русская речь.
Здесь топится русская печь.
Лучина...
поленьев беремя...
Надежный уклад
и — застывшее время.

Олег Суриков

КОРРИДА

......Кровожадна толпа без меры,
Кровь в глазах, запах пота, крик...
Снова шпагой взмахнул тореро,
Снова харкает кровью бык...
На трибунах вся масса жаждет,
Чтоб хоть кто-нибудь, да умирал,
Только сердцем, большим и отважным,
Бык и смерть, и толпу презирал.
И сейчас он не хочет падать,
И сейчас он еще стоит...
На трибунах людское стадо,
Распуская слюну, вопит...
Не хочу я сюда вливаться,
В этот мутный людской поток,
Не хочу человеком зваться,
Если так человек жесток!

Елена Юшина

□ □ □

Однобокие сосны спускались к дороге,
Вытесняя корнями прожилки берез.
Запинаясь о шишки, по тропам пологим
Ты болезное сердце из города нес.

Уходил от себя и от шумного тракта,
От мирской суеты по шуршащей листве.

Пот с горячего лба на брусничный лист капал.
С каждой каплею сил прибывало в тебе.

Облегченьем усталость казалась бродяге.
Отдыхал по привычке: запасливым был.
В трех шагах по березе постукивал дятел:
Обреченную на смерть от страха лечил.

Так тебя врачевала тайга год от года.
На поклон шел к ней дряхлым, шел еле живым...
В пышном храме грехи отпускала природа
Вековечным терпением к ближним своим.

Татьяна Митина

□ □ □

Поздняя осень. Бездомная лужица счастья.
Ливень холодный. Бесплодные капли любви.
Обледеневший мирок раскрошился на части —
Голые ветви. И память слетевшей листвы.
Звездный минор. Белизна ресторанной салфетки.
Уличный гомон. Молитва в безлюдной глуши.
Черные птицы. Ничейные теплые клетки.
Сытая совесть. И память озябшей души.

Галина Ахметгалиева

□ □ □

Бабушке Авдотье Макаровне

Вся родня приехала?.. Мало мне осталось.
Побормочем напоследок — вроде раздышалась.
Где я ни работала, где я ни была!
Двадцать пять девишников отжила!

Строгой матушка была... Господи прости!
Кланялись: «Лександра! Дуню отпусти!»
«За кроснами пусть сидит, шьет мешки,
Все доделает — тогда и петь с руки!»

Отжила, отпела, сколь могла...
Вот опять телега затрясла!
Все по тракту да по ямам — напрямик,
Не пойму, чьи кони, чей на них мужик?

«Эй, мужик, домой пора — темно ведь...
Только мимо Манзурки не проедь!
Мимо Вани моего — я была жена,
Мимо матери с отцом — я сама мать...
Уведите маленьких — грех пугать!

Вы живите дружно и здоровы будьте,
Песенницу-бабку, внучки, не забудьте!
Неохота помирать, хоть горя было всякого...
Захотела засмеяться — и заплакала.

□ □ □

Лена ты моя льдистая,
Ведра вы мои стылые,
Ноги вы мои быстрые,
Валенки мои старые.

Теплые мои проталины,
Вы от ног босых протаяли!
Ягода моя пестрая,
Песня ты моя поздняя.

Пахота моя мягкая,
Да картошка в ней мерзлая,
Догоняли нас, маленьких,
На конях верхом взрослые.

Вся трава вокруг собрана,
Все уже на вкус перепробовано:
Выручка-крапива жгучая,
Отруби мои колючие.

Люди вы мои милые,
Что вы ради нас вынесли,
Лишь бы мы, такие хилые,
Выжили и выросли!

Оберег ли мой, беда ль моя —
Избы вы мои низкие...
Детство ты мое дальнее —
Слезы вы мои близкие.

Станислав Духовников

□ □ □

После всего, что случилось,—
Мчится незримое в зримое,
Как пред рассветом гонимые —
Тучи и облака.
После всего, что забылось,—
Вспомнится только заветное,
Как вечное, но как и тщетное —
Не сбудется. А пока:
После всего, что случилось,—
Мчится незримое в зримое,
Как пред рассветом гонимые —
Тучи и облака.

ИЗ РУССКОГО ФИЛОСОФСКОГО НАСЛЕДИЯ

В. В. Соловьев (1853—1900)

ТРИ РЕЧИ В ПАМЯТЬ ДОСТОЕВСКОГО

ПРЕДИСЛОВИЕ

В трех речах о Достоевском я не занимаюсь ни его личной жизнью, ни литературной критикой его произведений. Я имею в виду только один вопрос: чему служил Достоевский, какая идея вдохновляла всю его деятельность?

Остановиться на этом вопросе тем естественнее, что ни подробности частной жизни, ни художественные достоинства его произведений не объясняют сами по себе того особенного влияния, которое он имел в последние годы своей жизни и того чрезвычайного впечатления, которое произвела его смерть. С другой стороны, и те ожесточенные нападки, которым все еще подвергается память Достоевского, направлены никак не на эстетическую сторону его произведений, ибо все одинаково признают в нем первостепенный талант, возвышающийся иногда до гениальности, хотя и не свободный от крупных недостатков. Но та идея, которой служил этот талант, для одних является истинной и благотворной, а другим представляется фальшивою и вредною.

Окончательная оценка всей деятельности Достоевского зависит от того, как мы смотрим на одушевлявшую его идею, на то, во что он верил и что любил. «А любил он прежде всего живую человеческую душу во всем и везде, и верил он, что мы все род Божий, верил в бесконечную силу человеческой души, торжествующую над всяким внешним насилием и над всяким внутренним падением. Приняв в свою душу всю жизненную злобу, всю тяготу и черноту жизни и преодолев все это бесконечною силою любви, Достоевский во всех своих творениям возвещал эту победу. Изведав божественную силу в душе, пробивающую через всякую человеческую немощь, Достоевский пришел к познанию Бога и Богочеловека. Действительность Бога и Христа открылась ему во внутренней силе любви и всепрощения, и эту же всепрощающую благодатную силу проповедывал он как основание и для внешнего осуществления на земле того царства правды, которого он жаждал и к которому стремился всю свою жизнь» *.

Мне кажется, что на Достоевского нельзя смотреть как на обыкновенного романиста, как на талантливого и умного литератора. В нем было нечто большее, и это большее составляет его отличительную особенность и объясняет его действие на других. В подтверждение этого можно было привести очень много свидетельств. Ограничусь одним, достойным особого внимания. Вот что говорит гр. Л. Н. Толстой в письме к Н. Н. Страхову: «Как бы я желал уметь сказать все, что я чувствую о Достоевском. Вы, описывая свое чувство, выразили часть моего. Я никогда не видел этого человека и никогда не имел пря-

* Из слов, сказанных на могиле Достоевского 1 февраля 1881 года.

мых отношений с ним; и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый близкий, дорогой, нужный мне человек. И никогда мне в голову не приходило меряться с ним, никогда. Все, что он делал (хорошее, настоящее, что он делал), было такое, что чем больше он сделает, тем мне лучше. Искусство вызывает во мне зависть, ум — тоже, но дело сердца — только радость. Я его так и считал своим другом и иначе не думал как то, что мы увидимся и что теперь только не пришлось, но что это мое. И вдруг читаю — умер. Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал и теперь плачу. На днях, до его смерти, я прочел «Униженные и оскорбленные» и умилялся». А в другом прежнем письме: «На днях я читал «Мертвый дом». Я много забыл, перечитал и не знаю лучше книги изо всей новой литературы, включая Пушкина. Не тон, а точка зрения удивительна: искренняя, естественная и христианская. Хорошая, назидательная книга. Я наслаждался вчера целый день, как давно не наслаждался. Если увидите Достоевского, скажите ему, что я его люблю».

Те сердечные качества и та точка зрения, на которые указывает гр. Толстой, тесно связаны с той господствующей идеей, которую Достоевский носил в себе целую жизнь, хотя лишь под конец стал вполне овладевать ею. Уяснению этой идеи посвящены три мои речи.

РЕЧЬ ПЕРВАЯ

В первобытные времена человечества поэты были пророками и жрецами, религиозная идея владела поэзией, искусство служило богам. Потом, с усложнением жизни, когда явилась цивилизация, основанная на разделении труда, искусство, как и другие человеческие делания, обособилось и отделилось от религии. Если прежде художники были служителями богов, то теперь само искусство стало божеством. Явились жрецы чистого искусства, для которых совершенство художественной формы стало главным делом, помимо всякого религиозного содержания. Двукратная волна этого свободного искусства (в классическом мире и новой Европе) была роскошна, но не вековечна. На наших глазах кончился расцвет новоевропейского художества. Цветы опадают, а плоды еще только завязываются. Было бы несправедливо требовать от завязи качеств спелого плода: можно только предугадывать эти будущие качества. Именно таким образом следует относиться к теперешнему состоянию искусства и литературы. Теперешние художники не могут и не хотят служить чистой красоте, производить совершенные формы; они ищут содержания. Но чуждые прежнему религиозному содержанию искусства, они обращаются всецело к текущей действительности и ставят себя к ней в отношение рабское вдвойне: они, во-первых, стараются рабски списывать явления этой действительности, а во-вторых, стараются столь же рабски служить злобе дня, удовлетворять общественному настроению данной минуты, проповедывать ходячую мораль, думая через то сделать искусство полезным. Конечно, ни та, ни другая из этих целей не достигается. В безуспешной погоне за мнимо реальными* подробностями только теряется настоящая реальность целого, а стремление соединить с искусством внешнюю поучительность и полезность к ущербу его внутренней красоты превращает искусство в самую бесполезную и ненужную вещь в мире, ибо ясно, что плохое художественное произведение при наилучшей тенденции ничему научить и никакой пользы принести не может.

Произнести безусловное осуждение современному состоянию искусства и его господствующему направлению очень легко. Общий упадок творчества и частные посягательства на идею красоты слишком бросаются в глаза,— и, однако же, безусловное осуждение всего этого будет несправедливо. В этом грубом и низменном современном художестве,

* Всякая подробность, взятая отдельно, сама по себе не реальная, ибо только все вместе, к тому же реалист-художник все-таки смотрит на реальность от себя, понимает ее по-своему, и. следовательно, это уже не есть объективная реальность.

под этим двойным знаком раба скрываются залоги божественного величия. Требования современной реальности и прямой пользы от искусства, бессмысленные в своем теперешнем грубом и темном применении, намекают, однако, на такую возвышенную и глубоко истинную идею художества, до которой еще не доходили ни представители, ни толкователи чистого искусства. Не довольствуясь красотой формы, современные художники хотят более или менее сознательно, чтобы искусство было *реальной силой*, просветляющей и перерождающей весь человеческий мир. Прежнее искусство *отвлекало* человека от той тьмы и злобы, которые господствуют в мире, оно уводило его на свои безмятежные высоты и *развлекало* его своими светлыми образами; теперешнее искусство, напротив, *привлекает* человека к тьме и злобе, житейской с неясным иногда желанием просветить эту тьму, умирить эту злобу. Но откуда же искусство возьмет эту просвещающую и возрождающую силу? Если искусство не должно ограничиваться отвлечением человека от злой жизни, а должно улучшать саму эту злую жизнь, то эта великая цель не может быть достигнута простым воспроизведением действительности. Изображать — еще не значит преображать, и обличение еще не есть исправление. Чистое искусство поднимало человека над землею, уводило его на олимпийские высоты; новое искусство возвращается к земле с любовью и состраданием, но не для того же, чтобы погрузиться во тьму земной жизни, ибо для этого никакого искусства не нужно, а с тем, чтобы исцелить и обновить эту жизнь. Для этого нужно быть причастным и близким земле, нужна любовь и сострадание к ней, но нужно еще и нечто большее. Для могучего действия на землю, чтобы повернуть и пересоздать ее, нужно привлечь и приложить к земле *неземные силы*. Искусство, обособившееся, отделившееся от религии, должно вступить с нею в новую свободную связь. Художники и поэты опять должны стать жрецами и пророками, но уже в другом, еще более важном и возвышенном смысле: не только религиозная идея будет владеть ими, но и они сами будут владеть ею и сознательно управлять ее земными воплощениями. Искусство будущего, которое *само* после долгих испытаний вернется к религии, будет совсем не то первобытное искусство, которое еще не выделилось из религии.

Несмотря на антирелигиозный (по-видимому) характер современного искусства, проницательный взгляд сумеет отличить в нем неясные черты будущего религиозного искусства, именно в двойном стремлении — к полному воплощению идеи в мельчайших материальных подробностях до совершенного почти слияния с текущею действительностью и вместе с тем в стремлении *воздействовать* на реальную жизнь, исправляя и улучшая ее согласно известным идеальным требованиям. Правда, сами эти требования еще довольно низменны и внушаемые ими условия довольно безуспешны. Не сознавая религиозного характера своей задачи, реалистическое художество отказывается от единственного действия в мире.

Но весь этот грубый реализм современного художества есть только та жесткая оболочка, в которой до поры до времени скрывается крылатая поэзия будущего. Это не личное только чаяние,— на это наводят положительные факты. Уже являются художники, которые, исходя из господствующего реализма и еще оставаясь в значительной мере на его низменной почве, вместе с тем доходят до религиозной истины, связывают с нею задачи своих произведений, из нее почерпают свой общественный идеал, ею освящают свое общественное служение. Если в современном реалистическом художестве мы видим как бы предсказание нового религиозного искусства, но уже являются его предтечи. Таким предтечей был и Достоевский.

По роду своей деятельности принадлежа к художникам романистам и уступая некоторым из них в том или другом отношении, Достоевский имеет перед ними всеми то главное преимущество, что видит не только вокруг себя, но и далеко впереди себя...

Кроме Достоевского, все наши лучшие романисты берут окружающую их жизнь так, как они ее застали, как она сложилась и выразилась,— в ее готовых, твердых и ясных формах. Таковы в особенности романы Гончарова и гр. Льва Толстого. Оба они воспро-

изводят русское общество, выработанное веками (помещиков, чиновников, иногда крестьян) в его бытовых, давно существующих, а частью отживших или отживающих формах. Романы этих двух писателей решительно однородны по своему художественному предмету, при всей особенности их талантов. Отличительная особенность Гончарова — это сила художественного обобщения, благодаря которой он мог создать такой всероссийский тип, как Обломова, равного которому по широте мы не находим ни у одного из русских писателей *. Что же касается до Л. Толстого, то все его произведения отличаются не столько широтой типов (ни один из его героев не стал нарицательным именем), сколько мастерством в детальной живописи, ярким изображением всяческих подробностей в жизни человека и природы, главная же его сила в тончайшем воспроизведении механизма душевных явлений. Но и эта живопись внешних подробностей, и этот психологический анализ являются на неизменном фоне готовой, сложившейся жизни, именно жизни русской дворянской среды, оттеняемой еще более неподвижными образами из простого люда. Солдат Каратаев слишком смирен, чтобы заслонить собою господ, и даже всемирно-историческая фигура Наполеона не может раздвинуть этого тесного горизонта: владыка Европы показывается лишь настолько, насколько соприкасается с жизнью русского барина; а это соприкосновение может ограничиваться очень немногим, например, знаменитым умыванием, в котором Наполеон графа Толстого достойно соперничает с гоголевским генералом Бетрищевым. В этом неподвижном мире все ясно и определенно, все установилось; если есть желание чего-то другого, стремление обращено не вперед, а назад, к еще более простой и неизменной жизни — к жизни природы («Казаки», «Три смерти»).

Совершенно противоположный характер представляет художественный мир Достоевского. Здесь все в брожении, ничто не установилось, все еще только становится. Предмет романа здесь не быт общества, а общественное движение. Изо всех наших замечательных романистов один Достоевский взял общественное движение за главный предмет своего творчества. Обыкновенно с ним сопоставляют в этом отношении Тургенева, но без достаточного основания. Чтобы характеризовать общее значение писателя, надо брать его лучшие, а не худшие произведения. Лучшие же произведения Тургенева, в особенности «Записки охотника» и «Дворянское гнездо», представляют чудесные картины никак не общественного движения, а лишь общественного состояния — того же старого дворянского мира, который мы находим у Гончарова и Л. Толстого. Хотя затем Тургенев постоянно следил за нашим общественным движением и отчасти подчинялся его влиянию, но смысл этого движения не был угадан, и роман, специально посвященный этому предмету («Новь»), оказался совершенно неудачным *.

Достоевский не подчинился влиянию господствовавших кругом него стремлений, не следовал покорно за фазисами общественного движения, — он предугадывал повороты этого движения и заранее судил их. А судить он мог по праву, ибо имел у себя мерило суждения в своей вере, которая ставила его выше господствующих течений, позволяла ему видеть гораздо дальше этих течений и не увлекаться ими. В силу своей веры Достоевский верно видел его уклонения от этой цели, по праву судил и справедливо осуждал их. Это справедливое осуждение относилось только к неверным путям и дурным приемам общественного движения, а не к самому движению, необходимому и желанному; это осуждение относилось к низменному пониманию общественной правды, к ложному общественному идеалу, а не к исканию общественной правды,

---

* В сравнении с Обломовым и Фамусовы и Молчалины, Онегины и Печорины, Маниловы и Собакевичи, не говоря уже о героях Островского, все имеют лишь специальное значение.

* Хотя Тургеневу принадлежит слово «нигилизм» в общеупотребительном его значении, но практический смысл нигилистического движения не был им угадан, и позднейшие его проявления, далеко ушедшие от разговоров Базарова, были для автора «Отцов и детей» тяжкою неожиданностью.

не к стремлению осуществить общественный идеал. Этот последний и для Достоевского был впереди: он верил не в прошедшее только, но и в грядущее царство божие и понимал необходимость труда и подвига для его осуществления. Кто знает истинную цель движения, тот может и должен судить уклонения от нее. А Достоевский тем более имел на это право, что он сам первоначально испытал те уклонения, сам стоял на той неверной дороге. Положительный религиозный идеал, так высоко поднявший Достоевского над господствующими течениями общественной мысли, этот положительный идеал не дался ему сразу, а был выстрадан им в тяжелой и долгой борьбе. Он судил о том, что знал, и суд его был праведен. И чем яснее становилась для него высшая истина, тем решительнее должен был он осуждать ложные пути общественного действия.

Общий смысл всей деятельности Достоевского как общественного деятеля, состоит в разрешении этого двойного вопроса: о высшем идеале общества и настоящем пути к его достижению.

Законная причина социального движения заключается в противоречии между нравственными требованиями личности и сложившимся строем общества. Отсюда начал и Достоевский как описатель, толкователь и вместе с тем деятельный участник нового общественного движения. Глубокое чувство общественной неправды, хотя и в самой безобидной форме, высказалось в его первой повести «Бедные люди». Социальный смысл этой повести (к которой примыкает и позднейший роман «Униженные и оскорбленные») сводится к той старой и вечно новой истине, что при существующем порядке вещей лучшие (нравственно) люди суть вместе с тем худшие для общества, что им суждено быть бедными людьми, униженными и оскорбленными *.

Если бы социальная неправда осталась для Достоевского только темой повести или романа, то и он сам остался бы только литератором и не достиг бы своего особого значения в жизни русского общества. Но для Достоевского содержание его повести было вместе с тем жизненною задачей. Он сразу поставил вопрос на нравственную и практическую почву. Увидав и осудив то, что делается на свете, он спросил: что же должно сделать?

Прежде всего представилось простое и ясное решение: лучшие люди, видящие на других и на себе чувствующие общественную неправду, должны, соединившись, восстать против нее и пересоздать общество по-своему.

Когда первая наивная попытка** исполнить это решение привела Достоевского к эшафоту и на каторгу, он, как и его товарищи, сначала не мог видеть в таком исходе своих замыслов только свою неудачу и чужое насилие. Приговор, его постигший, был суров. Но чувство обиды не помешало Достоевскому понять, что он был неправ с своим замыслом социального переворота, который был нужен только ему с товарищами.

Среди ужасов мертвого дома Достоевский впервые сознательно увидел неправоту своих революционных стремлений. Товарищи Достоевского по острогу были в огромном большинстве из простого народа, и, за немногими яркими исключениями, все это были худшие люди народа. Но и худшие люди простого народа обыкновенно сохраняют то, что теряют люди интеллигенции: веру в Бога и сознание своей греховности. Простые преступники, выделяясь из народной массы своими дурными делами, нисколько не отделяются от нее в своих чувствах и взглядах, в своем религиозном миросозерцании. В мертвом доме Достоевский нашел настоящих «бедных (или, по народному выражению, несчастных) людей». Те прежние, которых он оставил за собою, еще имели убежище от общественой оби-

---

* Это та же самая тема, как в «Отверженных» Виктора Гюго, контраст между внутренним нравственным достоинством человека и его социальным положением. Достоевский очень высоко ценил этот роман и сам подвергся некоторому, хотя довольно поверхностному, влиянию Виктора Гюго (склонность к антитезам). Более глубокое влияние, помимо Пушкина и Гоголя, оказали на него Диккенс и Жорж Занд.

** Наивная, собственно, со стороны Достоевского, которому пути социального переворота представлялись в весьма неопределенных чертах.

ды в чувстве собственного достоинства, в своем личном превосходстве. У каторжников этого не было, но было нечто большее. Худшие люди мертвого дома возвратили Достоевскому то, что отняли у него лучшие люди интеллигенции. Если там, среди представителей просвещения, остаток религиозного чувства заставлял его бледнеть от богохульств передового литератора, то тут, в мертвом доме, это чувство должно было воскреснуть и обновиться под впечатлением смиренной и благочестивой веры каторжников. Как бы забытые Церковью, придавленные государством, эти люди верили в Церковь и не отвергали государства. И в самую тяжкую минуту за буйной и свирепой толпой каторжников встал в памяти Достоевского величавый и кроткий образ крепостного мужика Марея, с любовью ободряющего испуганного барчонка. И он почувствовал и понял, что перед этой высшей божьей правдой всякая своя самодельная правда есть ложь, а попытка навязать эту ложь другим есть преступление.

Вместо злобы неудачного революционера, Достоевский вынес из каторги светлый взгляд нравственно возрожденного человека. «Больше веры, больше единства, а если любовь к тому, то все сделано»,— писал он. Эта нравственная сила, обновленная соприкосновением с народом, дала Достоевскому право на высокое место впереди нашего общественного движения не как служителю злобы дня, а как истинному двигателю общественной мысли.

Положительный общественный идеал еще не был вполне ясен уму Достоевского по возвращении из Сибири. Но три истины в этом деле были для него совершенно ясны: он понял прежде всего, что отдельные лица, хотя бы и лучшие люди, не имеют права насиловать общество во имя своего личного превосходства; он понял также, что общественная правда не выдумывается отдельными умами, а коренится во всенародном чувстве, и, наконец, он понял, что эта правда имеет значение религиозное и необходимо связана с верой Христовой, с идеалом Христа.

В сознании этих истин Достоевский далеко опередил господствовавшее тогда направление общественной мысли и, благодаря этому, мог предугадать и указать, куда ведет это направление. Известно, что роман «Преступление и наказание» написан как раз перед преступлением Данилова * и Каракозова, а роман «Бесы»— перед процессом нечаевцев. Смысл первого из этих романов, при всей глубине подробностей, очень прост и ясен, хотя многими и не был понят. Главное действующее лицо — представитель того воззрения, по которому всякий сильный человек сам себе господин и ему все позволено. Во имя своего личного превосходства, во имя того, что он сила, он считает себя вправе совершить убийство и действительно его совершает. Но вот вдруг то дело, которое он считал только нарушением общественного бессмысленного закона и смелым вызовом общественному предрассудку,— вдруг оно оказывается для его собственной совести чем-то гораздо большим, оказывается грехом, нарушением внутренней нравственной правды. Нарушение внешнего закона получает законное возмездие извне в ссылке и каторге, но внутренний грех гордости, отделившей сильного человека от человечества и приведший его к человекоубийству,— этот внутренний грех самообоготворения может быть искуплен только внутренним нравственным подвигом самоотречения. Беспредельная самоуверенность должна исчезнуть перед верой в то, что больше себя, и самодельное оправдание должно смириться перед высшей правдой Божией, живущей в тех самых простых и слабых людях, на которых сильный человек смотрел, как на ничтожных насекомых.

В «Бесах» та же тема если не углублена, то значительно расширена и усложнена. Целое общество людей, одержимых мечтой о насильственном перевороте, чтобы переделать мир по-своему, совершают зверские преступления и гибнут позорным образом, а исцеленная верой Россия склоняется перед своим Спасителем.

Общественное значение этих романов велико: в них предсказаны важные общест-

---

* Данилов — студент Московского университета, убивший и ограбивший ростовщика, имея при этом какие-то особые планы.

венные явления, которые не замедлили обнаружиться; вместе с тем эти явления осуждены во имя высшей религиозной истины, и указан лучший исход для общественного движения в принятии этой самой истины.

Осуждая искания самовольной отвлеченной правды, порождающие только преступления, Достоевский противопоставляет им народный религиозный идеал, основанный на вере Христовой. Возвращение к этой вере есть общий исход и для Раскольникова и для всего одержимого бесами общества. Одна лишь вера Христова, живущая в народе, содержит в себе тот положительный общественный идеал, в котором отдельная личность солидарна со всеми. От личности же, утратившей эту солидарность, прежде всего требуется, чтобы она отказалась от своего гордого уединения, чтобы нравственным актом самоотвержения она воссоединялась духовно с целым народом. Но во имя чего же? Во имя ли того только, что он — народ, что шестьдесят миллионов больше, чем единица или чем тысяча? Вероятно, есть люди, которые именно так это и понимают. Но такое слишком уж простое понимание было совершенно чуждо Достоевскому. Требуя от уединившейся личности возвращения к народу, он прежде всего имел в виду возвращение к той истинной вере, которая еще хранится в народе. В том общественном идеале братства или всеобщей солидарности, которому верил Достоевский, главным было его религиозно-нравственное, а не национальное значение. Уже в «Бесах» есть резкая насмешка над теми людьми, которые поклоняются народу только за то, что он народ, и ценят православие как атрибут русской народности.

Если мы хотим одним словом обозначить тот общественный идеал, к которому пришел Достоевский, то это слово будет не народ, а Церковь.

Мы верим в Церковь как в мистическое тело Христово; мы знаем Церковь так же, как собрание верующих того или другого направления. Но что такое Церковь как общественный идеал? Достоевский не имел никаких богословских притязаний, а потому и мы не имеем права искать у него каких-нибудь логических определений Церкви по существу. Но, проповедуя Церковь как общественный идеал, он выражал вполне ясное и определенное требование, столь же ясное и определенное (хотя прямо противоположное), как и то требование, которое заявляется европейским социализмом. (Поэтому в своем последнем дневнике Достоевский и назвал народную веру в Церковь нашим русским социализмом). Европейские социалисты требуют насильственного низведения всех к одному чисто материальному уровню сытых и самодовольных рабочих, требуют низведения государства и общества на степень простой экономической ассоциации. «Русский социализм», о котором говорил Достоевский, напротив, возвышает всех до нравственного уровня Церкви как духовного братства, хотя и с сохранением внешнего неравенства социальных положений, требует одухотворения всего государственного и общественного строя через воплощение в нем истины и жизни Христовой.

Церковь как положительный общественный идеал должна была явиться центральною идеей нового романа или нового ряда романов, из которых написан только первый — «Братья Карамазовы»*.

Если этот общественный идеал Достоевского прямо противоположен идеалу тех современных деятелей, которые изображены в «Бесах», точно так же противоположны для них и пути достижения. Там путь есть насилие и убийство, здесь путь есть **нравственный подвиг**, и притом двойной подвиг, двойной акт нравственного самоотречения. Прежде всего требуется от личности, чтобы она отреклась от своего произвольного мнения, от своей самодельной правды во имя общей всенародной веры и правды. Личность должна преклониться перед народною верой, но не потому, что она народная, а потому, что она истинная. А если так, то, значит, и народ во имя этой истины, в которую он верит, должен отречься и отрешиться от всего в нем

---

* Главную мысль, а отчасти и план своего нового произведения Достоевский передавал мне в кратких чертах летом 1878 г. Тогда же (а не в 1879 г., как сказано по ошибке в воспоминаниях Н. Н. Страхова) мы ездили в Оптину Пустынь.

самом, что не согласуется с религиозною истиной.

Обладание истиной не может составлять привилегии народа так же, как оно не может быть привилегией отдельной личности. Истина может быть только вселенскою, и от народа требуется подвиг служения этой вселенской истине, хотя бы, и даже непременно, с пожертвованием своего национального эгоизма. И народ должен оправдать себя перед вселенской правдой, и народ должен положить душу свою, если хочет спасти ее.

Вселенская правда воплощается в Церкви. Окончательный идеал и цель не в народности, которая сама по себе есть только служебная сила, а в Церкви, которая есть высший предмет служения, требующий нравственного подвига не только от личности, но и от целого народа.

Итак — Церковь, как положительный общественный идеал, как основа и цель всех наших мыслей и дел, и всенародный подвиг, как прямой путь для осуществления этого идеала — вот последнее слово, до которого дошел Достоевский и которое озарило всю его деятельность пророческим светом.



Борис Лапин

ГОЛУБЫЕ ЗАРНИЦЫ ЯЗОНА

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Часть первая

1

Собственно, экспедиция считалась самой заурядной. Подумаешь, два месяца на астероиде! Даже Вера, собирая меня на Язон, не всплакнула, как обычно. Наверное, начала привыкать к моим бесконечным командировкам. И напрасно, как я теперь понимаю. Надо было вцепиться и не отпускать. Обливаться слезами. Умолять. Грозить разводом. Но она даже не всплакнула. Кинула только: «Пока, Дима!» Спешила куда-то...

Может, в тот самый момент и следовало насторожиться. Заподозрить, что Неизвестное уже готовится к встрече с тобой. Мы ведь знаем, рано или поздно столкнемся с ним нос к носу. Истинно так. Что ни говори, служить космодесантником — не цветочки на Земле разводить. Но если сто раз ничего не случалось... ничего «сверх»: сверхтрудного, сверхопасного, сверхзагадочного,— беспечность обволакивает тебя розовым облаком, расслабляет, размагничивает. И ты готовишь себя к чему угодно: к пытке скукою, заурядным техническим неполадкам, всевозможным мелким сюрпризам ближнего космоса — только не к этой ошеломляющей встрече с его величеством Неизвестным. Вопреки собственным убеждениям. Вопреки тому, что не устаешь твердить молодым коллегам: «Неизвестное ждет нас за каждым углом вселенной!»

Чтобы половчее влезть в мою шкуру, представьте картину. Сидит в углу полутемного салона большой, грузный, медлительный на вид человек. С взлохмаченной сивой шевелюрой. С зигзагами свежих морщин на загорелом лбу. С воспаленным взглядом, устремленным внутрь. Сидит и вздыхает. Причем шумно вздыхает, сопя и отдуваясь,— ему не перед кем соблюдать приличия. Ему осталось только сидеть да вздыхать.

Вот я и сижу на пороге Неизвестного. И не смею. То есть, конечно, смею, но лишь мысленно. Предпринять что-нибудь не решаюсь. А что тут можно предпринять? Из чего сделать выбор? Никаких вариантов! Полная обреченность. Разумеется, я пойду туда. Но это еще не значит, что я готов пойти туда. Или хочу пойти. Так что сижу и жду. А чего жду, не знаю. Помощи со стороны? Ее не последует. Какого-то просветления в голове, озарения, прозрения? Можно дожидаться год. Зарниц? Не знаю. Вообще-то я еще как будто в своем уме...

Вот-вот, опять вздох!..

Вздыхай не вздыхай, а пора признаться себе: я ведь жду встречи с зарницами. Опасаюсь. Откладываю. Надеюсь. И жду. Потому что это единственная возможность хоть что-то предпринять. Другое дело — даст ли это результат? Ну хорошо, я пойду туда — но состоится ли встреча? И вообще — зависит ли это от меня?

В салоне все осталось так же, как в тот памятный вечер пять дней назад,

когда мы сидели здесь втроем и философствовали, а точнее, болтали на темы, которых не следовало бы касаться столь безответственно. И когда Шарль Мбукву сказал: «Схожу-ка я, пожалуй, наверх». По-прежнему стоят на своих полях кони, ферзи и ладьи, демонстрируя безнадежно проигранную черными позицию. Бокал недопитого Гердом витаминного коктейля. Недокуренная сигарета Шарля в пепельнице. Только я забрал свою «капитанскую» трубочку. И так же, как тогда, сижу в кресле, грею руки о ее теплое корявое дерево и думаю. Правда, уже о другом. А Шарля нет в живых. И Герда, можно сказать, нет. А я сижу и все еще чего-то жду. И чувствую отвратительный озноб во всем теле. О каком прежде понятия не имел. Будто стою на краю пропасти. На самом краю. А внизу ничего, лишь серая мгла бездонья.

Конечно, подобная стычка с Неизвестным — целая академия. Богатейшая пища для умов Земли и Марса. Если только удастся выкарабкаться. Во всяком случае, эти дни приоткрыли мне новые горизонты в познании мира. Да и как иначе, коли познание оплачено столь дорогой ценой! Да, да, из-за этого методологического просчета, из-за этой легкомысленной, незрелой, самонадеянной установки мы оказались неподготовленными, физически и нравственно безоружными перед... Перед кем? Или чем? Не знаю. Однако я, Дмитрий Хлебников, космодесантник высшего класса, за эти пять дней истинно вырос. Вырос до того жалкого уровня, в каком обязан был пребывать к моменту зачисления в Отдел Пояса. То есть всего лишь начал сознавать себя человеком разумным. И понял, как этого мало, чтобы решиться на что-то.

Вот почему я, натура деятельная и сугубо практическая, в такой экстренной ситуации сижу и жду, как древний принц Гамлет. И ничего не предпринимаю. Разве что покуриваю трубочку. Так это не в счет — табак в ней все равно ненастоящий. Безвредная и бесполезная синтетика. Дрянь, а не табак! А вы попробуйте раздобыть у нас на Марсе хоть щепотку доброго земного табачку!

Я вздрагиваю и прислушиваюсь. Опять чьи-то шаги в тамбуре. Такое впечатление, будто кто-то нерешительно топчется в шлюзовой камере. Не знает, как включить наддув, и то смущенно покашливает, то наугад щелкает тумблерами, то дергает дверь. Затихнет на полчаса — и снова: шарк, шарк, шарк. Я не боюсь. Скорее сего, это наш корпус проседает в растревоженном грунте астероида. Но пойти посмотреть, кто там топчется, как-то не тянет.

Впрочем, надо, наверное, по порядку. А то все в кучу свалил: и гибель Шарля Мбукву, и горизонты познания, и свои смехотворные страхи, и табак. Истинно — спятил...

2

Шесть дней назад нас высадил на Язон экспедиционный корабль «Коперник». Все произошло вполне буднично. Буровой автомат забурился в толщу астероида на положенные двадцать пять метров и дал «добро» на выброс десанта, мы выбросились и заглубились, сообщили на «Коперник» исходные данные и поблагодарили капитан-директора, он, в свою очередь, пожелал нам «приятного отдыха», как положено по шутливой традиции Космофлота, и отправился развозить другие экспедиции в разные углы Пояса.

Сразу же скажу, чтобы потом не отвлекаться, что за штучка наш Язон. Это типичный, ничем не примечательный астероид, каких в Поясе десятки тысяч, «малый», но не из самых мелких, в поперечнике 32 километра, несколько экстравагантной формы сдобной булочки, в которую пекарь ткнул пальцем, так что у нее на верхней корочке осталась изрядная вмятина, куда, собственно, мы и заглубились. Язон не вращается, но «покачивается», обеспечивая тем самым условную смену дня и ночи. Период обращения вокруг Солнца — типичный для осевой линии Пояса. Масса, химический состав по данным экспресс-анализа и прочие характеристики в пределах нормы. Словом, совершенно ничем не примечательный облик. Мы, разведчики, должны были проторчать на нем два месяца, провести комплексное обследование по схеме «А-7» и вернуться на

Марс, где нас ждал отпуск. Как видите, все настолько привычно, что и говорить-то не о чем, работа как работа, не хуже и не лучше других, тем более в моем послужном списке таких Язонов под сотню, правда, у Герда Лаубе и Шарля Мбукву поменьше, но тоже предостаточно. Да, еще забыл сказать. Наша разведочная экспедиция направлена Отделом Пояса Марсианского Исследовательского Центра «Интеркосмоса». Чтобы уж все было ясно.

Итак, проводив «Коперник», мы обошли отсек, нашу базу, углубленную в недра Язона, сняли показания приборов, сделали первую запись в журнале, раскидали по каютам свои личные пожитки, привели себя в относительный порядок, и уже через полчаса в салоне стрельнуло шампанское — согласно традиции, которые у нас соблюдались столь же неукоснительно, как устав.

Фенечка подала нам перекусить. Для товарищей, не знакомых с обычаями поясников, объясню, что Фенечкой у нас ласково именуется робот обслуживания «Фе-8» вероятно, за цветастый фартучек, в котором это бессловесное существо потчует нас обедами и ужинами. Кстати, экспедиционный компьютер «ЕВСТ-202» тоже имеет имя — Евстигней. Откуда это повелось — не ведаю, мы лишь соблюдаем обычаи.

После обеда был час отдыха, потом мы облачились в скафандры и вылезли через шахту наружу, чтобы раскидать по скалам первую партию приборов, различных регистраторов и датчиков, скоммутировать связь и подключить солнечные батареи, пока еще не развернутые. Порядком умаявшись, спали как убитые, а утром второго дня вывезли из подземелья вездеход, опробовали и обкатили его, развернули солнечные батареи, поставили антенну и на спецмачте подняли флаг «Интеркосмоса», то есть прописались на Язоне вполне официально.

До обеда еще оставалось время, и Шарль Мбукву, наш геолог, предложил:

— Прокатимся вокруг, оглядимся! Как ты, Дима?

Я пожал плечами. С этого все и началось.

Мы отъехали с километр, когда я обнаружил, что у Шарля, пристально разглядывающего скалы в окно, глаза вдруг полезли на лоб. На его прекрасный черный лоб, обрамленный антрацитовыми завитками. Я тормознул. Рядом с нами на грубо сломленных косых пластах обнажения лежала опрокинутая каменная баба. Да, да, та самая — старая знакомая с острова Пасхи! Я даже не удивился поначалу и не испугался, только присвистнул, как при встрече с давним приятелем.

Герд Лаубе сказал:

— А что, очень похоже. Воистину природа неистощима на выдумки.

Только Шарль словно остолбенел, и на лице его застыла этакая древняя африканская маска невозмутимости. У нас он был геологом, но имел еще и антропологическое образование, так что к нему, наверное, больше всего пристала в этот момент маска безмятежности.

Мы вылезли из вездехода, молча обошли и ощупали статую — молча, потому что, сами понимаете, какие слова возможны в такой момент? Убедились, что изделие это древнее, изрядно изрытое оспинами микрометеоритов, что никаких осколков от нее, ничего похожего на платформу и вообще никаких следов чьей-либо деятельности вокруг нет. Баба лежала на голой каменной плите, обратив слепое лицо с запавшими глазницами и выпяченным подбородком к далекому Солнцу, будто ее забыли тут миллион лет назад и она ждет, когда за нею вернутся. А вокруг подковой навис ребристый горизонт, мертвенный и угрюмый, такой близкий, что, кажется,— камень добросишь. Недозрелый апельсин Солнца катился по темно-фиолетовой небесной бездне, одну за другой заглатывая колючие звездочки. И такой миллионолетней усталостью повеяло вдруг от всего этого пейзажа, от нелепого сочетания земной бабы с безжизненностью астероида — хоть вой. Истинно печальное зрелище!

Шарль взял манипулятором пробу от основания статуи, зачем-то похлопал ее по плечу, мы влезли в вездеход и не говоря ни слова начали делать концетрические круги сначала вокруг статуи, затем и вокруг нашей мачты с флагом, удаляясь все дальше, и глядели в оба, но ничего сколько-нибудь примечательного не обнаружили.

А когда спускались в шахту, я подумал: «Ну, начинается!» Почему-то я был убежден, что баба — не просто баба сама по себе, а лишь начало какой-то длинной и достаточно скверной истории из тех, в которые влипают. Честно говоря, за годы освоения Пояса я побывал в разных переделках и столько хлебнул, что иному на три жизни хватит. И все-таки подумал: «Такого мы еще не нюхали!» Кто хоть чуть знает поясников, поймет меня: все новенькое, все сколько-нибудь выбивающееся за рамки чревато крупными неприятностями. Не потому, что поясники такие же ретрограды, а потому лишь, что мы — типовая экспедиция и вовсе не подготовлены к разного рода сюрпризам. Короче говоря, хотя я и понимал, это любопытно, невероятно, занимательно, увлекательно, достопримечательно и так далее, хотя воображение мое уже работало вовсю, стрелка настроения упала до нуля.

Нельзя усказать, что мы были сражены или выбиты из колеи, ничего ведь страшного не произошло, но ни до обеда, ни в обед о бабе не было сказано ни слова. Будто мои друзья заразились моей молчаливостью. Мы обменялись несколькими пустяковыми репликами, но в общем поели молча. Так же молча выпили кофе, принесенный Фенечкой. А после обеда перешли в салон, и тут начался этот самый диспут. Или треп, как вам удобнее.

База наша устроена таким образом, чтобы мы не чувствовали себя слишком уж оторванными от привычного быта. Каютки маленькие, но уютные: салатового цвета дачные занавесочки на фальшокнах, зеркала, настольные лампы под зелеными абажурами, гравюрки с земными рощицами и прудами. И в салоне ничего себе: приглушенный свет, мягкий ковер на полу, мягкие кресла, шахматный столик и пальма в углу. Все лабораторные отсеки у нас внизу, над ними спортзал и небольшой бассейн, а наверху жилуха с этим самым уютом. Но по правде сказать, к концу второго месяца научно обоснованный уют так начинает действовать на нервы, что мы день и ночь пропадаем в лабораториях, лишь бы не видеть эти осточертевшие фальшокна.

И вот после обеда мы расположились в салоне, Герд с Шарлем за шахматами, в уголке, в кресле под пальмой. Шарль закурил сигарету, я трубочку распалил, а Герд прихлебывал коктейль из запотевшего бокала. Они сделали ходов, думаю, тридцать — Шарль безнадежно проигрывал. То есть, хочу сказать, мы пытались жить по-прежнему, будто ничего не произошло. И вдруг Шарль ни с того ни с сего отодвинул столик и спросил то самое, о чем все мы только и думали два с половиной часа:

— А что скажет по этому поводу наш сибирский медведь?

Сибирский медведь — мое прозвище, я на него не обижаюсь. За что меня так перекрестили? Видимо, за массивную фигуру и молчаливость. А может, и потому, что я родом из Сибири. С Байкала. Причем, обратите внимание, он так спросил, будто оба они уже высказались, один я традиционно отмолчался. Я запустил пятерню в шевелюру и пробасил:

— Когда бес захочет попутать, непременно бабу нашлет. Не к добру это, мужики. Истинно!

Больше я ничего не сказал, но всем своим существом участвовал в диспуте, спорил, доказывал и приводил аргументы, иногда удачные. Правда, безмолвно. Товарищи мои к этому привыкли, втянуть меня в разговор не пытались. Знали, я не увалень и не тупица, просто характер такой, а дойдет до точки — выскажусь. И наверняка дельно.

Герд рассмеялся:

— О, геноссе Дима, как всегда, на высоте философских обобщений! Ты сибирский Кант, Дима. Гегель с берегов Байкальзее. Спиноза Пояса Астероидов! А что, Шарль, это действительно столь похоже на творение рук или только эмоциональный стресс от созерцания идентичности акта творения природы и ее эволюционной вершины, то есть человека, вызывает подобие некой слепой веры в апофеоз случайности?

Он-то построил фразу еще мудренее, наш Герд, большой мастер умозаключений, но я не в состоянии передать ее дословно, ручаюсь лишь за смысл. На это Шарль Мбукву, выпучив свои отчаянные негритянские глаза, ответил с

плохо сдерживаемой яростью, вовсе ему не свойственной:

— Я, геноссе Лаубе, вместо букваря учился читать по книге Тура Хейердала. С картинками! И эти картинки у меня вот где! — Он ткнул себя в лоб.— Для меня, антрополога по призванию, не возникает вопроса идентичности этой статуи ТЕМ. Возникает лишь вопрос: как она попала сюда? Или, в другой редакции: как ОНИ попали туда?

— Ну разумеется, ты не сомневаешься! — снисходительно улыбнулся Герд. Он всегда так улыбался, когда подначивал Шарля на спор.— Ты, наверное, даже не допускаешь мысли, что природа, имея в своем распоряжении миллионы лет и сделав миллиарды проб, могла где-то в достаточно беспредельных пространствах Солнечной системы случайно изваять нечто похожее на статуи острова Пасхи?

Шарль не поддался на вызов, ответил сдержанно:

— Почему же, допускаю. Но зачем исходить из столь маловероятного объяснения, когда само собой напрашивается значительно более вероятное?

— Ну да, разумеется,— пришельцы! Интеллектуалы иных миров! Могущественная цивилизация, от нечего делать развозящая по закоулкам вселенной каменных баб! Если невероятно случайное сотворение природой этого истукана, объясни мне, как она, природа, тем же примитивным способом исхитрилась сотворить нечто несоизмеримо более сложное? Скажем, человека? Или ты и себя почитаешь изделием пришельцев?

Они постепенно заводились, и диспут обострялся. А я покуривал трубочку, внимал их доводам и одновременно думал свое. Ну, прежде всего, конечно, приходило на ум самое простое объяснение. Хохма. Кто-то подшутил над нами, зная, что Шарль Мбукву немножко повернут по поводу пришельцев и всяческих следов пребывания у нас в гостях. Действительно, высаживаемся на астероид, где нога человека не ступала,— и нате вам, баба! Разумеется, наиболее вероятный автор подобной проделки — Герд Лаубе. Постоянный оппонент Шарля, спорщик и задира. Исхитрился каким-то образом подкинуть бабу и теперь задирает Шарля, бесит, доводит до белого каления. А Шарль и без того завелся. Просто. Да вот беда — как приволочь сюда эту бабенцию? А кроме того, Герд и сам, похоже, озадачен. Смущен и сбит с толку.

Еще возможно, хохма эта не индивидуальная, а, так сказать, коллективная. Теоретики из Отдела Пояса давненько уже поговаривают, что, мол, десантники заштамповались и заскорузли в своей работе, закостенели, заплесневели и покрылись космической пылью, что де они дальше своего носа не видят, что не мешало бы время от времени подкидывать им для стимуляции мозговой деятельности какие-нибудь «вводные» ребусы типа «проверки на разумность» и что будто бы такой проект лежит уже в Совете Марсианского Исследовательского Центра. Конечно, теоретикам вольно болтать, но чтобы Совет согласился на подобные дешевые хохмочки? Чтобы Вацлав Брода, прекрасно знающий, что почем в космосе, согласился?! Позвольте усомниться.

Что же тогда остается? Допустить, что бабоньку эту с какими-то своими целями завезли сюда «вольные исследователи» Западного Содружества — бизнесмены, браконьеры и авантюристы — в те далекие времена, когда они еще болтались по ближнему космосу на своих тихоходных ракетах? Но баба не игрушка, была бы еще раз в десять поменьше, а такую им не поднять на орбиту при всем желании. С тех пор ее безусловно никто не мог сюда забросить, уже полста лет, как в космосе наведен порядок. Относительный, конечно, но все-таки. Правда, года два назад среди космодесантников поползли слушки, будто бы в средних широтах Пояса объявились до зубов вооруженные амазонки, отважно берущие на абордаж любую посудину. Будто бы это бывшие феминистки, в свое время пожелавшие стать отшельницами, а ныне взбесившиеся без мужиков. И единственная цель их разбоя — раздобыть мужика. Будто бы уже несколько попавших к ним в плен десантников погибли истинно героической смертью. Однако даже если и существуют где-то эти бедняжки,— им не до баб. Своих девать некуда... Но тогда — что же еще? Больше ни-

чего в голову не приходило.

— Все это верно, это азбука науки! — говорил между тем со своим африканским темпераментом Шарль Мбукву. — Но почему бы не предложить другое? Почему бы дорогой Герд?!

— Другое? Но мы же еще далеко не исчерпали «естественные» гипотезы!

— А гипотеза Фаэтона, скажем... Она что, противоестественна с точки зрения науки?

— Не противоестественна — маловероятна. К тому же давно отвергнута как не выдержавшая критики, — возражал Герд Лаубе.

— Хорошо, оставим в покое цивилизацию Фаэтона, расколовшую и раскрошившую собственную планету. Допустим, астероид — не ее бренные останки. Хотя еще ничего не доказано. Но почему мы должны отдавать предпочтение «естественным» гипотезам? Что это за методология такая? Научная?

— Видишь ли, дорогой мой геноссе Мбукву...

Я не очень-то вслушивался в их спор — заранее знал, кто что скажет. Перепалка на тему пришельцев возникает у них регулярно, по два-три раза на каждую экспедицию. Правда, на таком накале еще не дискутировали, да оно и понятно: впервые вопрос из чисто теоретического превратился в практический. Хотя, если смотреть глубже, проблема происхождения Пояса для нас, поясников, всегда оставалась насущной. Но как-то уж так повелось, теорией занимались теоретики, а мы — «делом». И все же, осмотревши и ощупавши сотню астероидов, я, человек далековатый от всяческих теоретизирований, все больше склоняюсь к гипотезе взрыва пятой планеты Солнечной системы, гипотетического Фаэтона. Очень уж свежи все эти осколки. Но почему Фаэтон не мог развалиться в силу каких-то естественных причин, почему его непременно должны были взорвать сами фаэтонцы — этого я постичь не в состоянии. Но именно эту часть гипотезы особенно рьяно отстаивал Шарль, большой энтузиаст идеи множественности обитаемых миров.

А Герд не верил во внеземные цивилизации, сама мысль о контакте приводила его в состояние иронического транса. Вообще, он был эрудит и ортодокс, наш экспедиционный физико-химик, ходячая многотомная энциклопедия, ЭВМ седьмого поколения с благородной лысиной и изысканными манерами завзятого землянина. От грубоватых, прямых и доверчивых «марсиан» Герд отличался разительно. На Марсе таких недолюбливают. Но его все любили, и я тоже — неведомо почему. В общем-то, он был мужик ничего, надежный, хотя занудства и ехидства в нем хватало. Шарль его сентенций выносить не мог, постоянно держал себя в узде, чтобы вдруг не взорваться. И тем не менее все проверки на совместимость наша троица проходила блестяще.

Относительно моей позиции в этом споре. Я не разделял скепсиса Герда, но и энтузиазма Шарля не поддерживал. А точнее, не считал вопрос актуальным. Действительно, на заре космической эры только и разговоров было что о «братьях по разуми». Но вот минуло почти три столетия, изрядные средства ушли на зондаж звездного неба, а результатов никаких. Глухо. И тогда мы, земляне, малость поостыли в поисках «братьев». Стали говорить и думать о них скептически. А иные смирились с мыслью о нашей исключительности. Конечно, отдаю себе отчет, это не оправдание антропоцентризма. Но что было, то было...

— Видишь ли, дорогой мой геноссе Лаубе, я много думал над этой проблемой. И готов встретиться с нею на практике, — распалялся Шарль Мбукву. — Полагаю, наука и на этот раз извернется, придумает два-три правдоподобных объяснения. Ты заметил, Дима, в таких случаях наша глубокоуважаемая наука дает не единственное объяснение, а два-три более-менее приемлемых? Но вот годится ли эта метода в деле столь тонком, как появление каменной бабы на Язоне? Не вернее ли другая: объявить неопознанного исчадием контакта, а уж затем искать опровержение?

— Ну, это ни в какие ворота...

— Ага, не нравится! Дискриминация! А почему же ты допускаешь дискриминацию противоположную? Впрочем, не настаиваю. Я всего лишь за равноправие. За истинно научный непредвзятый подход. Встань-ка на место

этого «истукана». Ему же немыслимо, юридически немыслимо отстоять себя, право быть собою. Пока не будут исчерпаны все возможные «естественные» гипотезы... Да они никогда не будут исчерпаны, они попросту неисчерпаемы. Вот и докажи нашим ортодоксам, что ты не лошадь. Тоже мне, презумпция невиновности!

Шарль Мбукву поднес сигару к губам, выпустил колечко дыма, аккуратненько положил ее на пепельницу (как она и сейчас лежит) — и вдруг встал.

— А знаете, друзья мои, схожу-ка я, пожалуй, наверх.

Я не стал возражать. В конце концов, это по его профилю, у нас же с Гердом своих дел по горло. И даже не сказал то, что должен был сказать: «Будь осторожен, Шарль!» А чего бояться? Или кого? Миллион лет лежащей на боку слепой каменной бабы? О ней можно спорить хоть до хрипоты, но остерегаться...

Там, наверху, далекое Солнце садилось за мрачную зубчатую стену словно бы нависшего над тобой горизонта. Над скалами, как и вчера, посверкивали слабые голубые зарницы. Мы занялись расконсервацией научного оборудования. Прошло что-то около часа. И вдруг в динамиках общей связи раздался какой-то странный, возбужденный и прерывающийся голос:

— Герд... Геноссе Лаубе... Запиши-ка, меня меня вдруг осенило... доказательство теоремы Гёрлиха...— И он, запинаясь, продиктовал ряд формул, которые Герд, изумленно поглядывая на меня, все же записал.— Потом потолкуем, геноссе Лаубе... Пока не до этого...

— Что, он еще и математик к тому же? — недоверчиво спросил Герд. Я пожал плечами. Он не хуже меня знал, что к математике Шарль не имел ни малейшего отношения с тех пор, как сдал экзамены.— Похоже на Герлиха, но явно какая-то мура. Теорема Фридриха Вильгельма Теодора Эриста Марии Герлиха недоказуема, любой студент знает.

И мы снова занялись делами, но смутная тревога не покидала нас, меня, по крайней мере. Главное, мы не представляли, из-за чего, собственно, следует тревожиться.

Минут через десять он включился снова и заорал, точно в самое ухо,— таким сильным был голос:

— Эврика, я нашел, ребята! Фаэтонцы понимали...— Тут он как-то странно и страшно захохотал, никогда не слышал такого всепобеждающего смеха.— Мы вольем в гипотезу Фаэтона свежую кровь...— Опять хохот. Пауза. И вдруг— хрип. Мы вскочили с мест, готовые бежать на выручку, но стояли, как вросшие в пол.— Великая нация... Трагический исход... Это было великолепное зрелище... неповторимое...— И уже не хрип, что-то похожее на бульканье, будто он захлебнулся.— Дима... Дима... Включи телезапись... и все поймешь...— Молчание. Жалкое, слабое, беспомощное. И полустон: — Помогите!..

Это было его последнее слово. Мы бросились наверх — и едва не забыли про скафандры. Когда мы допрыгали до того места, где стоял вездеход, было уже поздно. Шарль Мбукву лежал в неуклюжей позе на дне утыканной острыми каменьями расселины. И по гермошлему его извивалась трещина. По сверхпрочному пластелитовому гермошлему! А в двадцати метрах от Шарля неподвижно лежала каменная баба...

Довольно быстро мы с Гердом втащили его в вездеход, еще на что-то надеясь. Вмиг влетели в шахту, почти не задерживаясь, миновали шлюз, сняли гермошлем, подключили датчики компьютера (он у нас и медик заодно) и замерли. Положенные на медицинское заключение тридцать секунд тянулись бесконечно. Потом наш Евстигней включился, кашлянул многозначительно и объявил бодреньким голосом:

— Летальный исход вследствие инсульта!

Было в этом что-то нелепо-ужасное — услышать такие слова, сказанные таким тоном. Никакой самый черствый, самый бездушный человек просто не сумел бы так произнести подобную фразу. Мы знали, что наш Евстигней круглый болван. Да и будь он во сто крат умнее, как бы он учел трещину в гермошлеме, которой не видел и не осязал? И все же этого победоносного, этого ликующего тона мы от него не ожидали.

3

Это был удар — почище, чем встреча на пустынном астероиде с каменной бабой. Неожиданная, бессмысленная, глупейшая смерть. Смерть всегда глупа, но здесь... Я не мог поверить, что красавец Шарль Мбукву, чемпион своей страны в современном десятиборье, здоровяк и атлет, сорокалетний молодой человек, никогда ничем не болевший, умер от инсульта, точно какой-нибудь стопятидесятилетний старикашка. Он не мог умереть от инсульта, легион Евстигнеев не убедит меня в этом. Он умер от страха. Точнее, в состоянии паники. Испугавшись чего-то... или кого-то... он потерял власть над собой, ринулся бежать и свалился в расселину. Гермошлем разбился, внутреннее давление организма сделало свое дело, а Евстигней не нашел иного определения случившемуся, кроме как инсульт. Все очень логично. За исключением пустяка. Мы, поясники, нередко встречаемся со смертью лицо в лицо, всякого повидали,— но чтобы хоть один из нас поддался панике, потерял рассудок, побежал... что-то не припомню. Тем более чего можно было испугаться здесь, на голой каменной глыбе?!

Мы с Гердом впали в какой-то транс, в оцепенение — настолько были ошарашены. Стычка с Неизвестным всегда гипнотизирует человека, хватает за горло. Казалось, прошло полчаса, не больше, а хронометр в салоне показывал уже полночь. Наконец, Герд поднял на меня робкие, сразу потерявшие цвет глаза и сказал слабым голосом:

— Дима, приборы..., Может, какое-нибудь излучение? Магнитная буря? Микрометеориты? Испарения ядовитых газов?

Я пожал плечами: о чем он говорит, какие испарения, если Шарль был в скафандре с автономной системой дыхания? Да и случись что подобное, наша чувствительная автоматика подняла бы такой трезвон! Но все же пошел проверить записи на самописцах. Состояние у меня было преотвратное, и чтобы хоть чуть смыть апатию, я завернул на средний этаж — плеснуть в лицо холодной воды. А когда спустился вниз, на лабораторный этаж, услышал крадущиеся шаги на лестнице. Если бы Герд бежал, грохоча каблуками, или шел нормально, я бы его, конечно, не услышал. Но он почему-то крался, и это меня насторожило. Пока помимо воли. Я нырнул в тень фиксатора и осторожно глянул из-за него. Неудобно вывернув шею, Герд смотрел в мою сторону из-за угла. Однако не увидел ничего, успокоился и исчез в физзале. В три прыжка я достиг двери зала — Герд склонился под перекладиной, которую мы упорно называли турником, отогнул мат и то ли положил что-то, то ли, наоборот, сунул в карман. Через минуту, когда он выходил из зала, я уже вовсю насвистывал внизу, просматривая записи на самописцах. Как и следовало ожидать, ничего они не зафиксировали, наши надежные, наши хитроумные приборы. Ни излучений, ни магнитных бурь, ни метеоритов, ни изменений газовой среды, ни особых световых явлений, ни «язонотрясений». Зато я, Дмитрий Хлебников, кое-что зафиксировал. Истинно.

Герда я застал над блокнотом. Он бросил на меня растревоженный взгляд.

— Теорема Герлиха, Дима... Почему вдруг Герлиха, откуда? Там, возле статуи, он меньше всего мог думать о теореме Герлиха, даже если слышал о ней когда-то. Вот что меня беспокоит...

— Разве ты не говорил ему о Герлихе... как будто совсем недавно? — наобум брякнул я.

Герд споткнулся:

— Н-не припомню. Нет, не говорил. Никогда не говорил. А ведь это, Дима, и вправду доказательство. Парадоксальное, нелепое, но... Похоже, он опроверг Герлиха. Ты знаешь, мне как-то не по себе. Мне страшно, Дима!

Какого черта! Страшно должно быть мне. Если из нас троих один погиб, а другой что-то прячет и темнит. А мне не страшно. Страшно тебе!.. Если бы Герд мог почувствовать, какую неприязнь к нему генерировало все мое существо! Однако я держал себя в руках.

— Брось, старина!— сказал я грубовато.— Это не страх, это всего лишь естественная реакция. Своего рода собранность. Так что держись. Нам надо быть в форме. Перекусить не хочешь? Вот и

я не хочу. Пойду хоть душ приму.

— Сходи,— ответил он с непонятным облегчением.— А я попробую разобраться с этой... с доказательством.

Раздевшись, я прокрутил «солнце» на перекладине, сделал неудачный соскок и перевернул оба мата. Под ними ничего не оказалось. Значит, герр Лаубе что-то взял. Взял, а не положил. Почему-то с этой минуты я стал думать о нем «герр», а не «геноссе». Причем совершенно непроизвольно. Я включил душ; острые струи приятно кольнули тело; постепенно я возвращался в себя после шока; скрипучие колесики в голове притирались, раскручивались, набирали скорость.

Итак, одна из трех моих «естественных» гипотез отпала. По крайней мере, «проверка на разумность» через эту бабу, приведшая к гибели Шарля Мбукву, полностью исключалась. Гипотеза вмешательства каких-то внешних человеческих сил (о пришельцах я еще не думал сколько-нибудь всерьез) не получила пока никаких подтверждений. А вот что касается единственного человека, который мог что-то предпринять на Язоне (себя я, конечно, в расчет не брал),— тут дело осложнялось.

Подозрения мои начались с физзала. Они начались раньше — с Герлиха. Если Шарль не знал теорему Герлиха,— рассуждал я,— он не мог узнать ее и там, возле бабы. А коли знал,— за каким чертом Герду отрицать это? И по сю пору делать вид, что удивлен? Уж не пытался ли герр Лаубе использовать каким-то образом эту злосчастную теорему в обработке Шарля? В психической обработке? Или в разжигании спора?

Затем я полагал, никто кроме Герда Лаубе не мог положить каменного истукана на пути Шарля — разумеется, если отвлечься покуда от пришельцев и маловероятных космических банд. Что мы отправимся нынешним летом именно на Язон, Герд вызнал у Эдварда Рудзенького еще год назад. И по секрету сообщил мне. Больше об этом никто не знал. Затем: прошлым летом Герд Лаубе не поехал в отпуск на Землю, а напросился в экспедицию на Диоскуры. Под предлогом, что де на одном из этих астероидов-близнецов обнаружили какую-то особенную гравитационную аномалию Диоскуры здесь недалеко. Франц Рюш — давний друг Герда, из-за этой шумихи с аномалией они работали по программе «А-1», то есть делали что хотели, никто их не ограничивал и не контролировал. Учитывая ситуацию, можно представить, что Герд с помощью легкого лазера изготовил где-то эту бабу по образу и подобию земных и привез сюда. Трудно, с натяжкой — однако представить можно. Тем более это в его характере.

Кто-то рассказывал, перед экзаменом на очередных курсах в академии он подкинул Францу страстную любовную записку будто бы от профессора астронавигации Рины Благовой, о женской неприступности и строгости которой ходили легенды. А была она еще молода и прелестна, Франц же почитал себя в те времена неотразимым сердцеедом. И ведь поверил, балбес! Поздно вечером накануне экзамена завалился к ней с цветами и шампанским. Чем кончилась история, никто не знает, только назавтра Франц сиял, как новенькая медаль, а Рина два часа гоняла Герда по всему звездному атласу и все-таки завалила. Пришлось пересдавать...

Я выключил душ и сделал несколько дыхательных упражнений. В общем, решил я, жизнь продолжается. И нужно жить, хотя состояние предельно скверное... Ну хорошо, допустим, Герд подсунул Шарлю эту бабу, чтобы подхохмить, поиздеваться, взять верх в давнем споре о пришельцах. А что дальше? Чего испугался Шарль? И отчего умер? Не желал же Герд Лаубе его смерти — чего ради? Нет, тут что-то не так.

Я вытерся, оделся, влил в себя стакан ледяного апельсинового сока и лег в постель — необходимо было поспать. Однако сон не шел, битый час вертелся я с боку на бок, чего со мной отродясь не случалось. А когда задремал,— тут же увидел Герда под перекладиной. Будто я стоял в темном углу возле шведской стенки и все видел вблизи. Видел, как Герд вынул из кармана маленькую ампулку с отломанным горлышком и сунул... не под мат, а под металлический лист, служивший основанием перекладины.

Я вскочил и с сознанием, что нако-

нец-то все понял, тихонько спустился в зал. То есть я понял, что Герд ненавидел Шарля,— то ли как вечного оппонента, то ли просто так, беспричинно, мало ли мы любим и ненавидим ни за что. Вот и разыграл его с бабой, накалил спор до предела и принудил одного пойти наверх, предварительно подложив в скафандр ампулку с каким-то одуряющим веществом. Видимо, он собирался лишь проучить беднягу, а вышла беда. И теперь Герд сам испуган до полусмерти и лежит трясется у себя под одеялом.

Я запустил руку в щель под оторвавшимся на углу листом, уже предвкушая ощутить пальцами острое стекло или пластмассу. Но рука моя нащупала твердый глянцевитый листок. Это была фотография. Красавица Эвелин, жена Герда, и Шарль. Оба улыбающиеся и счастливые. Эвелин, которая бросила Герда прошлой весной и уехала на Землю. Эвелин, по которой Герд и ныне страдает. И о романе которой с Шарлем я даже не подозревал.

Вот тебе и проверки на совместимость!

Значит, это была не ошибка? Не злой розыгрыш, закончившийся трагически, а преднамеренное хладнокровное убийство? И в ампулке содержалось не одуряющее вещество, а что-то психопаралитическое? На Марсе и такое можно достать. На Марсе все можно достать, кроме натурального табака.

Нет, нет, невероятно! Едва закончив «расследование», я тут же отбросил его итоги. Этого не может быть! Я же знаю Герда шесть лет. Шесть лет! Знаю, что на него можно положиться. И что он лишь подтрунивал над Шарлем. Беззлобно подтрунивал. Что он не способен не только убить — ударить человека. Да, но вот фотография. Эвелин счастливо смеется. Шарль прошлым летом ездил в отпуск на Землю. Фон — вполне земные деревья. И все же...

Уснул я только под утро. Разбудил меня стук. Я вскочил. В дверях стоял бледный, осунувшийся Герд.

— Дима, он что-то говорил про телезапись...

Говорил, ну и что? Он много чего нес в предсмертном бреду. Какое это теперь имеет значение? Но для Герда это было почему-то важно. Что ж, может, он и прав, в нашем сегодняшнем положении не пристало отмахиваться и от бреда. Как будто бы речь шла о записи с камеры вездехода. Когда мы прибежали, вездеход стоял неподалеку от расселины.

— Хорошо, Герд. Но прежде пойди умойся. И поешь чего-нибудь.

— Какая еда! — уныло возразил он.

— Ты не спал?

— Не мог. А ты?

— Вздремнул немного. Иди, влей в себя что-нибудь съедобное. Прошу тебя, Герд.

Он понуро поплелся на кухню.

Экран вспыхнул что-то уж слишком ярко. Над знакомым пейзажем — уродливой горной подковой на горизонте, за которую только что провалилось Солнце,— полыхало голубое зарево. Яркое зарево в полнеба.

— Зарницы,— пробормотал Герд.

Но это были не зарницы в полном смысле слова. И не закатные всполохи, какие мы видели вчера. Это было истинно черт знает что. Вообще-то говоря, откуда бы взяться здесь, на астероиде, лишенном атмосферы, этому явлению? Разве что какие-то слабые испарения твердых пород? Ионизация? Но в тот момент подобные вопросы и в голову не приходили.

Прежде всего это было, конечно, зрелище. Голубые гейзеры вздымались над горизонтом, росли, как джинны, вырвавшиеся из бутылки, устремлялись в небо, пульсировали, струились, постепенно обретая все более определенные контуры,— и вдруг, обретя их, распростерши руки, крылья, хвосты, начинали извиваться в каком-то исступленном, безудержном танце, в каком-то самозабвенном шаманьем экстазе, плавиться, воспламеняться, источать огненные флюиды, лихорадочно дергаться и вибрировать,— а затем рушились, рассыпались голубыми искрами и низвергались в небытие. Но взамен сгинувших возникли новые: ритм этих небесных плясок все убыстрялся, контуры становились четче, фантастичнее, цвет ярче и насыщеннее, а шалые жесты все шире, разгульнее, пьянее...

Потом эти голубые призраки, эти джинны точно оторвались от скал, во-

спарили в небо, и под ними возникло нечто совершенно из другой оперы. какой-то особый, ни на что не похожий мир, какой-то алогичный интерьер. сплошь состоящий как бы из неких первичных построений; то ли решетки кристалла, то ли среза мозговой ткани, то ли структуры ДНК — не вдруг разберешь. И в то же время это вполне реальный мир, многоплановый, выстроенный по законам перспективы. Изредка под громоздким переплетением конструкций появлялся крохотный силуэт вроде бы человека с непомерно большой склоненной набок головой, вокруг которой просматривался не то нимб, не то ореол генерируемых им мыслей. Состояние человечка менялось — от пришибленности хаосом окружающего мира до торжества обладания его тайнами, от покорности року до всевластности творца и повелителя. Но едва он приходил к чему-то, голубой призрак как бы случайно задевал его крылом или хвостом, и он исчезал, и все рушилось, и возникал новый интерьер, такой же запутанный и сложный, и снова появлялась в нем эта осмысленная вертикальная фигурка, уже в другом месте, в другом настроении — и снова нечаянное движение голубого джинна все свергало в тартарары. Однажды — это запомнилось — он стоял в позе пророка, прозревшего будущее, удовлетворенный, сильный, счастливый,— а весь его мир уже накрывали беспросветные крылья безголовой фиолетовой гидры, и он не видел этого, не предчувствовал...

И опять, свергнув человечка, резвились в небе бесноватые джинны, переливаясь всеми оттенками голубого: синь, бирюза, лазурь, дымчато-серый, васильковый, фиолетовый... Словом, это была какая-то убийственно реальная зрительная галлюцинация, мираж, какофония цветомузыки, голубая абракадабра. Однако это потрясало, приковывало внимание, притягивало точно магнитом — не оторваться. Когда экран погас, я почувствовал себя разбитым, опустошенным — и в то же время взбудораженным до предела. Не об этом ли кричал Шарль: «Великолепное зрелище... неповторимое...»?

Некоторое время мы сидели у темного экрана, постепенно приходя в себя. Наконец, Герд Лаубе подал голос:

— Бедняга Шарль. Неужто это зрелище так повлияло на его распаленный мозг?

Я пожал плечами.

4

Прошло минут десять-пятнадцать, когда я почувствовал, что эмоциональный всплеск, вызванный созерцанием зарниц, сменился каким-то странным состоянием вялости, подавленности, даже униженности. Причем физическое мое состояние оставалось как будто вполне нормальным. Я чувствовал себя шелудивым щенком, которого ткнули мордой в собственную лужицу, и он ничего не в силах предпринять, кроме как покорно облизаться.

Герд, видимо, испытывал нечто подобное.

— Дима,— позвал он голосом жалким и недужным.— У меня отвратительное настроение...

— Еще бы,— ответил я.

— Нет, ты не понял. У меня стресс... психоз... состояние идиотской экзальтации... и такой тяжкой вины, будто это я убил Шарля...

— Не исключено, что мы как-то косвенно способствовали...

— О чем ты? — горько усмехнулся Герд.— Я говорю не о реальной вине — о жуткой подавленности, которую вызвали зарницы. О тяжести на сердце. А ты разве ничего не почувствовал?

— Как не почувствовал! Я весь закаменел... в какой-то необъяснимой униженности. Вот пакость! Не могу понять, что это за дрянь такая — зарницы?

— Феномен зарниц,— язвительно хихикнул Герд.— Не знаю, каким образом, но убежден — это они убили Шарля.

В моем теперешнем положении слова эти не показались мне ни кощунственными, ни фальшивыми. Да я и сам чувствовал, как нечто неведомое гнет, ломает и топчет мою психику. Мое неподдающееся никаким внешним влияниям «я».

— Н-да, зарницы...— выдавил я, ощущая, что язык во рту пухнет и поворачивается с трудом.— Что бы там ни было, мы обязаны сообщить на Марс. Прямо начальнику отдела. Эдварду. Надо было еще вчера...

— Давай, Дима. Хуже не будет,— задыхаясь, прохрипел Герд.

Мне казалось, я составлял текст радиограммы. А на самом деле в полубессознательном состоянии вертелся у себя на койке — как грешник на раскаленной сковороде. Всесильный нервный зуд корежил меня, выкручивая руки, в спираль свивал позвоночник. А я подбирал слова, чтобы потолковее объяснить Эдварду, что происходит. И когда через полчаса пришел в себя, еще и удивился, не обнаружив текста радиограммы.

Измученный и разбитый, но уже вполне оправившись от странного шока, я составил-таки это послание на Марс. Потом на несколько минут включил ионизатор. Потом заказал Фенечке пару бифштексов с картошкой фри и кофе покрепче. За столом Герд был бледен и почти не ел. Я же не без удовольствия умял пару поджаристых кусков мяса и попросил Фенечку повторить. А после обеда выкурил трубочку и почувствовал себя совсем прилично.

— Ну-с, и что же ты обо всем об этом думаешь? — полюбопытствовал Герд. Надо полагать, «состояние идиотской экзальтации и тяжкой вины» несколько отпустило его.

— Мерзость,— ответил я.

— Хуже не придумаешь,— согласился он.—Но с этим явлением мы еще разберемся. Успеем разобраться. Меня интересует, что ты думаешь о гибели Шарля... в связи с зарницами?

— В связи? Да ровным счетом ничего. Не вижу пока, о чем тут думать. Маловато опор, Герд. Статуя. Феномен зарниц. Какие-то смутные картины, образы... И все. А Шарля нет.

Он смотрел на меня так отчаянно-выразительно, что я уразумел: Герд хочет сообщить нечто важное. Хочет, но не решается.

— А теорема?! Я убежден, он понятия не имел о...

— Да, пожалуй. Особенно если не имел понятия. Есть над чем поломать голову. Хотя не представляю, как ее привязать к делу, эту теорему. О чем она? Помнится, о геометрии пространства-времени?

— В общем, да. Но он ставит Герлиха с ног на голову. Герлих шел к вселенной от атома, а Шарль... Если следовать ходу его рассуждений, то теорема... как бы это сказать... выворачивает пространство. Выверни наизнанку атом... как варежку... это и будет вселенная. Точнее, квазивселенная, но отвечающая нашим представлениям...

— Недурственно. Кстати, я всегда подозревал: наша вселенная как раз того... малость вывернута. И что, это стройное доказательство?

— Ну, не совсем. Он, видимо, торопился, пропускал промежуточные звенья. Такое впечатление, будто он считал самоочевидным то, что для меня пока дебри. А если учесть, что он был такой же математик, как ксилофонист... В общем, надо подумать, Дима.

— Давай подумаем. Но о чем?

— О Фаэтоне. О великой нации. О трагическом исходе. О том, что понимали фаэтонцы. И о свежей крови.

— Ну, свежую кровь в гипотезу Фаэтона мы уже влили. Значит, ты считаешь, теорема и зарницы как-то связаны?

— А ты разве так не считаешь, Дима? Разве ты не связал воедино кое-какие разрозненные факты, и разве сама последовательность событий не натолкнула тебя на определенный вывод, пусть даже предположительный?

Он и теперь изъяснялся витиевато, герр Лаубе.

— Видишь ли, дружище,— в смущении потерев лоб, ответил я,— Дмитрий Хлебников, может быть, и неплохой поясник. Но философа из него не получится. Представь, я ничего не связывал, не сопоставлял, не делал умозаключений — просто обо всем догадался.

— Догадался?! — вскочил Герд.— И молчишь? Почему?

— Потому что догадка эта противоречит кое-каким моим представлениям. И потому, что хотелось бы прежде выслушать тебя.

Я давал ему юридический шанс на признание — в будущем это здорово сгодилось бы. А кроме того, мне вообще не следовало предъявлять ему никаких обвинений — вдруг я ошибаюсь? Да и не мое это дело, не моя печаль. На то существует Суд Совести.

— Ты, как обычно, мудр, Дима. Мудр и прозорлив. Да вот заковыка: нет

у меня догадок, нет! Только сомнения, допущения, подозрения. Конечно, вся эта каша бурлит во мне, рвется наружу, и тем не менее...

Герр Лаубе вымученно улыбнулся и умолк. Он все еще плясал вокруг да около, хотя я высказался достаточно прозрачно. У меня сложилось впечатление, что он вот-вот раскроется. Признание распирало его, рвалось наружу. Но он почему-то не решался. И я знал, что в конце концов спрошу его: «А не исследовать ли нам химический состав дыхательных фильтров в скафандре Шарля?» — и он покается. Покается — и облегчит себе жизнь. Себе — но не мне.

Я был уверен в этом. То есть логика такого оборота дела представлялась безупречной. И все же прошу понять меня правильно: сердцем, интуитивно я ни минуты не верил в прямую виновность Герда. Может, как-то косвенно, случайно, непреднамеренно. Но я должен был выяснить все до конца. И помочь Герду преодолеть нерешительность. Однако он опередил меня, спросив мягко:

— Дима, ты в чем-то винишь меня? Объясни же в чем, и попытаемся разобраться вместе.

Я опешил. Я меньше всего ждал что он перейдет в контрнаступление. И вместе с тем смотрел он с таким душевным сочувствием, с таким пониманием роли, которую мне пришлось играть, что я готов был признаться во всех своих подозрениях. И попросить прощения.

— Просто мне представляется странной смерть Шарля. Это не похоже на случайность. Согласись, это похоже скорее на доведение до гибели...

Скорбная усмешка тронула его тонкие губы, тень скользнула по лицу, гневно потемнели глаза.

— Так. Значит, ты решил... ты заподозрил меня! Ах, Дима, Дима, не выйдет из тебя Шерлока...

— Я должен был проверить все версии,— сказал я жестко.— В том числе тебя и себя. Каждый из нас мог оказаться косвенным...

— Огорчил ты меня,— с обезоруживающей наивностью признался Герд.— С тех пор как Эвелин сбежала с этим Торпом, никто меня так не огорчал.

Кажется, он готов был расплакаться.

— С каким еще Торпом?

— Боже, неужели ты не помнишь Торпа? Этого пижона кинооператора, который снимал фильм о Подснежниках?

Я слыхом не слыхивал ни о каком Торпе. То есть самого оператора я, конечно, помнил, но чтобы у него был роман с Эвелин Лаубе...

— Ах да, Торп... Конечно... Прости, старина. Но что поделаешь, надо перебрать все — факт за фактом. И ничего не упустить. Положа руку на сердце, я уверен в тебе, как в себе. Истинно!

В этот момент я действительно был абсолютно уверен в нем. И чувствовал себя предателем по отношению к другу. Но, слава богу, раскрыть ему все свои карты не решился.

— Ладно, забудем,— великодушно простил меня Герд.— Но ты не с той стороны начал расследование, Дима.

— Виноват, исправлюсь!

— Да не о себе я! Вообще не с той. Надо плясать от зарниц.

— Ты прав. Баба. Теорема Герлиха. Зарницы. Вот все, чем мы располагаем. Три печки, от которых следует плясать. А надо найти одну, так?

Откровенно говоря, для меня эти «три печки» ровным счетом ничего не значили. И если бы пришлось отринуть версию Герда, я снова оказался бы на нулевой отметке. Как говорили в старину, у разбитого корыта.

5

Таким образом мое расследование еще более осложнилось — я обязан был вести его настолько тонко и деликатно, чтобы, упаси бог, не обидеть Герда, не вызвать у него подозрений, то есть, в нашей ситуации,— никак. Да признаться, меня и не прельщала роль следователя, по крайней мере, применительно к Герду. Истинно говорю.

Итак, если откинуть версию с пришельцами... А по чести, я не видел пока никаких причин валить гибель Шарля не пришельцев, этак в любой беде можно обвинить инопланетян, а наличие бабы на астероиде хотя и казалось загадочным, как-то не вязалось с при-

шельцами, больно уж земная была баба. Да, так если откинуть пришельцев, вовсе неотработанной оставалась одна версия: вмешательство каких-то неведомых сил и факторов ближнего космоса, то есть в конечном счете — людей. А какие еще люди обитают в районе Пояса, кроме нас, поясников? Ну, несколько научных экспедиций, рудокопы, энергетики да дюжина навигационных маяков.

И все-таки ближний космос был плотно населен личностями предельно экзотическими. Правда, не в действительности — в фольклоре. В Великом Фольклоре Пояса, который мог бы занять добрый десяток объемистых томов, вздумай кто-то собрать его воедино. И стоило поставить вопрос о вмешательстве в нашу мирную жизнь неведомых сил ближнего космоса, как на меня обрушилась эта лавина. Лавина легенд, басен, анекдотов, сказочек, притч былин, саг, баек и сентенций. Короче, все, что скопилось в моей башке за годы учебы в академии, чем защищались мы от власти наставников, развлекались, забавлялись, оттачивали язык и «пужали» друг друга. Конечно, сейчас это богатство скорее всего никак не могло мне пригодиться. И тем не менее я надеялся, отсортировав различные слои и разделы этого хаотического скопления фактов, лжи, гипотез и суеверий, хотя бы как-то систематизировать свод Поясного фольклора, чтобы наметить несколько путей поиска. Потому что знания, которые преподносились нам в виде инструкций и наставлений, в этом казусном случае вовсе не могли мне помочь. Да и как ни чинись, все же фольклор — народная мудрость, обобщенный коллективный опыт, так просто от него не отмахнешься.

Я не случайно заметил, что байки и легенды навалились на меня лавиной. Вспоминались какие-то случайные казусы и анекдоты, тут же рядом длинные и романтичные истории с продолжением, прозвища, поговорки, студенческие хохмы, черт знает что. Так что я чудом не утонул в этом изобилии. Но здесь-то я попытаюсь изложить лишь несколько «единиц хранения», те, которые дадут представление об устном народном творчестве нескольких поколений поясников и будут полезны для расследования.

Ну, прежде всего, о гипотезе Фаэтона, десятой планеты Солнечной системы, якобы вращавшейся когда-то между орбитами Марса и Юпитера, взорвавшейся по неведомой причине и породившей Пояс астероидов и множество комет. Поскольку официально гипотеза эта была отвергнута как несостоятельная, более того, отвлекающая от истинно научных исследований (преподаватели наши даже слово Фаэтон не смели произнесть), — мы, бурсаки, вовсю развлекались конструированием различных версий гибели Фаэтона, возможной жизни на нем, всерьез доказывали, что мы сами далекие потомки фаэтонцев и даже, устраивая по выходным тайные побеги на танцы в училище Космической медицины, кидали по аудиториям шифрованный клич: «Фаэтонцы, час настал!» Немудрено поэтому, что в нашем воображении жители погибшей планеты заселили астероиды, кометы и болиды, так же как через несколько миллионов (или десятков тысяч лет, какая разница!) их заселили находчивые, предприимчивые и весьма изобретательные на разные каверзы земляне. Вот для образца одна из версий гибели Фаэтона.

На уроке физики учитель-фаэтонец вызвал ученика Петрова. «А ну, продемонстрируй-ка нам, Петров, как получают электричество!» Петров взял в руки прибор для получения электричества, повертел за рукоять колесо, создающее заряд за счет трения, и осторожно начал сближать массивные шары. «Сейчас как трахнет!» — испуганно приостановился ученик. «Не бойся, не трахнет! — поощрил его учитель. — Смелее, Петров!» Ученик сблизил шары — и тут как трахнуло! Фаэтон в дребезги. Учитель и ученик чудом спаслись, сидя верхом на каменном осколке. Увидев, что ученик все еще держит в руках прибор, учитель вскричал в ужасе: «Дьявол тебя возьми, Петров, выкинь сейчас же к чертовой бабушке эту идиотскую штуку! Как бы нам с тобой еще больше бед не натворить!»

Но это юмор. А вот что меня серьезно заинтересовало, так это цикл легенд о Большом Бабае.

На любом симпозиуме, семинаре и

другом серьезном собеседовании я готов довольно ядовито высмеять несостоятельность версии о Большом Бабае, которого нет и не может быть. И в то же время как поясник-практик, обошедший едва ли не весь Пояс, отлично понимаю, что Большой Бабай существует, знаю его местоположение и никогда не сунусь в этот район без особой нужды. И без особых, в этом случае помогающих, заклинаний. И не я один. Нельзя сказать, что мы, поясники, заражены мистикой, нет, мы просто осторожны и практичны. Не лезем на рожон без крайней надобности.

Большой Бабай — это солидный район в центре самого крупного астероидного скопления как раз на оси Пояса, район, где крайне редко можно встретить кого-нибудь из поясников или транзитников, зато плотность обитания в нем различнейшей фольклорной нечисти умопомрачительно велика. Короче, это нечто, подобное Бермудскому треугольнику на Земле. И как с Бермудским треугольником, с Бабаем связаны многие до сих пор не объясненные факты исчезновения космических кораблей и прочие маловероятные, загадочные и научно не истолкованные случаи чертовщины с трагическим исходом. Сколько бы ни опровергали этот страшноватый фольклор в своих лекциях наши наставники, сколько бы ни соглашались мы с этими опровержениями, сидя в аудитории на Марсе, — наше отношение к нему коренным образом менялось, едва мы ныряли в Пояс. Да и то: дыма без огня не бывает.

Поговаривали, что Большой Бабай — это некое гравитационное искривление, где корабли сбиваются с курса, следуя показаниям вполне исправных приборов. Что это район могущественных магнитных аномалий. Что это сфера временного вакуума, то есть место, где время не движется. Наконец, что это малая «черная дыра», заглатывающая все, что к ней приближается, и выплевывающая свои жертвы в некоем надцатом измерении. То есть полный джентльменский набор ужасов. Однако парадоксальность положения состояла как раз в том, что в районе гипотетического Большого Бабая действительно погибло множество кораблей. В студенческие годы я поднял как-то «Мемориальный свод» и убедился: процентов семьдесят всех аварий Пояса с начала его освоения падает на Большого Бабая! Причем две трети этих печальных происшествий приходится на корабли, «пропавшие без вести». То есть канувшие в неведомое. Это на ограниченном-то пространстве между орбитами Марса и Юпитера, почти дома!

Верно, все это происходило давненько, еще до того, как общими усилиями землян в ближнем космосе был наведен порядок. А то ведь летали туда-сюда кому не лень: пираты, торговцы, авантюристы, сектанты, коллекционеры, миссионеры, конкистадоры, колонисты, контрабандисты и прочие персонажи фольклора. С ними-то главным образом и случались различные казусы. А современный рейдер, прокалывающий Пояс за считанные минуты, не больно-то собьешь с пути. Так что последнее время разговоры про Бабая несколько поумолкли.

Да, так по рассказам бывалых людей, тех, кто покинул Пояс еще до моего сюда прихода, встречали в глубинах Большого Бабая летающие могилы и дрейфующие сумасшедшие дома. Причем покойники в этих могилах преспокойно сидели в своих креслах, держа детективчики или фужеры в руках, обнимая своих женщин или играя с детьми, — нетленные покойнички, которых сразила мгновенная смерть в момент какого-то совершенно нематериального ЧП, потому что ни малейших повреждений на таких кораблях ни разу не обнаружили. И существовать подобная могила могла миллионы лет — если бы кто-то не наткнулся на нее. Кочующие среди астероидов сумасшедшие дома отличались лишь тем, что покойнички оказывались все поголовно живы — и пассажиры, и экипаж; системы жизнеобеспечения действовали безукоризненно, роботы кормили людей, ухаживали за ними, лечили и укладывали спать, — однако можно представить, что там творилось день и ночь, в этих милых старинных лайнерах!

Но, пожалуй, самая впечатляющая «история с продолжением», имевшая множество версий, — это история отважного поясника Гоги Демократа и его возлюб-

ленной Златокудрой Изольды.

Была у поясника первого поколения по имени Гога и по кличке Демократ (а тогда в поясники шли парни сорвиголовы, не то что ныне) возлюбленная красавица неведомой профессии, потому что в те далекие времена женщины допускались на Марс лишь по трудовому договору, причем непременно с мужем. Изольда же нигде не трудилась и мужа никогда не имела. Однако легенда есть легенда. Да и женщина есть женщина, всюду проникает, коли возжелает. Разумеется, любовь у них была столь пламенная, что все Подснежники завидовали, а местные барды воспевали счастливую парочку в душещипательных романсах под чипс-гитару.

Но однажды доблестный первопроходец космоса потерпел аварию, столкнувшись с заурядным обломком (тогда подобное еще случалось) и трое суток проболтался на орбите в аварийном скафандре (рассчитанном всего на три часа, но ведь-то Гога!), прежде чем его спасли и невредимым доставили на Марс. Разумеется, человек, побывавший в такой переделке, обязан прежде всего доложиться начальству и лечь на исследование в госпиталь. Слух о чудесном спасении Гоги мигом разнесся по Марсу, Подснежники ликовали, Нью-Порт улыбался, однако воочию увидеть героя ожидали только через неделю: медики обладали на Марсе властью поистине диктаторской.

Однако Гога есть Гога, он пренебрег строгостями устава и прямо из космопорта ринулся к ненаглядной. Вероятно, даже Златокудрая не ожидала от Гоги такой прыти, потому что он застал свою фею в объятиях... Здесь следует сказать два слова о тогдашнем толковании космической чести, впрочем, и теперь до конца не изжитом. Если бы прекрасная Изольда покоилась в объятиях человека достойного, скажем, другого отважного поясника, сюжет повернулся бы иначе. Но Гога застал ее с толстопузым поваром! Итак, одним пинком повар был вышвырнут из каюты Гоги, а смущенная Изольда, отведав пару пощечин, залилась горючими слезами. Ох уж эти женские слезы! Только благодаря им Гога, будучи настоящим демократом, уже через час простил подругу. Однако история получила огласку, и Гогу списали на берег. А без Пояса он, вполне естественно, жить не мог.

И тогда Гога, будто бы договорившись с корешом из патруля Нью-Порта, пригласил свою прощенную возлюбленную просто прокатиться в воскресный день по окрестностям Марса, поглазеть на белые шапки полюсов, посетить Фобос и Деймос и хоть чуточку заглубиться в столь любезный его сердцу Пояс. Конечно, риск есть, объяснил Изольде Гога, но минимальный. Подумаешь, угнать на сутки патрульный катер! В Нью-Порте на это смотрят сквозь пальцы, не то что в Подснежниках, в худшем случае, посадят «на губу». И счастливая парочка устремилась навстречу звездам. Вскоре Гога достиг границы Большого Бабая, вывел суденышко на круговую орбиту вокруг оси и устроил на борту пир горой. Бывший поясник и его золотоволосая подружка вовсю поглощали шампанское и веселились до упаду. Под утро, утомленная шампанским и поцелуями, Изольда уснула.

Когда она проснулась, Гоги и след простыл. Он испарился, как испаряется в конце запах даже самых стойких духов. Зато голос Гоги известил неверную, что он, Гога Демократ, навеки покидает ее, изменницу, предпочевшую герою-пояснику жалкого толстобрюхого повара, что катер будет сто тысяч лет курсировать внутри Большого Бабая, что система жизнеобеспечения судна рассчитана на двадцать пять лет (экипаж из десяти человек может продержаться на нем два с половиной года), что управление катером и механизм открывания люка заблокированы им, Гогой, поэтому не стоит и пытаться что-либо предпринять, и что приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Можно представить, как реагировала на столь неожиданное сообщение Златокудрая Изольда!

Бедняжка погоревала день или год, прокляла свою красоту и ветреность, но трижды прокляла коварного обожателя, подвергшего ее столь суровому наказанию за столь малую провинность. При этом ей, разумеется, и в голову не пришло, что наказывая ее, Гога, как истинный демократ, наказал и себя. В своем женском эгоизме Изольда даже не

задалась вопросом: куда же исчез Гога, оставив ее одну на борту катера?

Постепенно начала она осваиваться на корабле. Обнаружила кухню и бар, научилась включать душ и музыку, регулировать кондиционер и телекаскад. В управлении и программировании она понимала не больше, чем слон в шахматах, однако испытанный метод проб и ошибок и на сей раз продемонстрировал все свои преимущества. И тем не менее Изольда тосковала. Не умея делать ничего, кроме маникюра, и не зная иного искусства, кроме искусства любви, она очень скоро впала в апатию. В поисках развлечений бродила она по немногочисленным помещениям катера, и однажды обнаружила, что боевой лазер патруля не заблокирован. Да и мог ли вообразить Гога свою мирную подругу за пультом грозного оружия?!

А Изольда, как всякая женщина ее времени, не раз и не два играла в подобную войну на игровых автоматах, да и совсем недавно с тем же Гогой играла, поэтому несказанно обрадовалась неожиданному развлечению. И едва в поле ее зрения появился небольшой осколок, хладнокровно прицелилась в него из лазерной пушки и нажала гашетку. К ее величайшему разочарованию, ничего не произошло. И бедная женщина пришла к выводу, что лазер не заряжен.

Но не могла же она отказаться от единственного удовольствия! И когда ей встретилось какое-то судно, Изольда, не долго думая, имитировала атаку на него. Судно как-то странно клюнуло носом, подозрительно дрогнуло корпусом и бочком ушло в сторону Юпитера. «Ага, струсил, нарушитель!» — возликовала Изольда. С тех пор она не упустила ни единого случая, чтобы не пужнуть кого-нибудь из бродяг космоса. Как они от нее удирали, поганцы! Они ведь думали, это настоящий патрульный катер, никто даже не заподозрил, что за пультом сидит очаровательная женщина, тоскующая в своей тюрьме!

Эти безобидные шалости она рассматривала как минимальную месть коварному Гоге и всему роду человеческому, обрекшему ее, красавицу в расцвете лет и желания любить, на одиночество в жалкой ракетенке, куда не в состоянии проникнуть даже самый дерзкий из мужчин! Откуда было знать ей, что патрульные катера Нью-Порта оснащены новейшими нейтронными лазерами, мгновенно убивающими все живое?!

За четверть века Златокудрая Изольда погубила немало ни в чем не повинных кораблей, по крайней мере, три десятка, и навела на поясников такой ужас, что долгие годы никто не смел сунуться во владения Большого Бабая. Правда, по другой версии, Злотокудрой Изольдой именовали всего лишь некую комету с непостоянной орбитой. Но это уже частности.

Так что и летающие могилы, и кочующие сумасшедшие дома, и даже дыру, ведущую в четвертое, загробное, измерение, вполне можно объяснить — хотя бы — разгулом Златокудрой Изольды, кто бы она ни была, обиженная женщина или блуждающая комета. Действительно, нейтронный излучатель при дозированном применении способен не только временно парализовать психику, но и свести человека с ума. Да и комета, по некоторым предположениям, генерировала какое-то непонятное излучение.

Чем же, как не бурной деятельностью Изольды, объяснить чрезвычайное количество жертв в районе Большого Бабая, падающее именно на эти два десятилетия? Причем повторяю, то были преимущественно не обычные аварии, как в других местах Пояса, а «таинственные исчезновения» — без оповещения по радио, сигналов Sos; визуальной фиксации взрывов и обнаружения обломков катастрофы. Так или иначе, Златокудрая Изольда надолго отпугнула от Большого Бабая даже самых отчаянных десантников и обрекла его на роль некоего космического лепрозория.

Вы скажете: легенда! Разумеется, легенда. Или, точнее, полулегенда. Потому что гибель кораблей и соответствующие координаты зафиксированы в «Мемориальном своде». Причины же гибели и итоги расследований у нас не публикуются. Может быть, и к лучшему. Мы, поясники, народ в глубине души все-таки суеверный, нам и без того хватает материала для домыслов. Да и готовят нас для стандартных исследовательских программ, а ежели чуть что не так, это уже не наше дело, посыла-

ются спецдесанты во главе с учеными.

Вот что вспомнилось мне, точнее, вот на что обратил я внимание, ночь напролет перебирая в памяти страницы Поясного фольклора. Причем какое-то предание, вроде Златокудрой Изольды, я слышал несколько раз в различных вариантах, так что здесь кратко передаю суть весьма впечатляющей эпопеи. Полагаю, нетрудно догадаться, почему я выбрал именно эти эпизоды. Первое — речь в них идет о чем-то чрезвычайно напоминающем случай с Шарлем Мбукву: мощное воздействие на мозг, связанное с трансом, сумасшествием и последующей гибелью без очевидных признаков повреждений (в диагноз Евстигнея я верил все меньше). И второе — все это происходило в районе Большого Бабая, на центральной оси Пояса, то есть примерно там, где в годы оны вращался Фаэтон. Естественно, место заколдованное. Но суть-то в том, что приютивший нас Язон тоже располагается на оси. И совсем недалеко от границ Большого Бабая.

Может быть, в зоне досягаемости,— подумал я. Только вот досягаемости чего? Ответа на сей каверзный вопрос, конечно же, не было. На этом я задремал. И, вероятно, уже во сне явилось мне такое соображение: «Все это чепуха, а истинная разгадка связана с озером Балатон». При чем тут озеро Балатон, расположенное, как известно, в Венгрии, довольно далеко от Большого Бабая, я понятия не имел. Тем более что никогда на Балатоне не был.

6

Ночью мне казалось, что-то нащупывается, обрисовывается. Однако утром я проснулся в ощущении: чепуха и пустое времяпровождение. Проще вернуться к версии Герда, далеко еще не исчерпанной. Ну хорошо, пусть Торп. Пусть у Шарля ничего не было с Эвелин, и, следовательно, Герду незачем расправляться с бедолагой Шарлем. Однако зачем же ты, дружочек, спрятал от меня фотографию? Не просто же так!

В секторе, где жили поясники-десантники, все мы занимали особый отсек: мы с Верочкой, Герд с Эвелин, Шарль Мбукву, Франц Рюш со своей Сюзанной. Костас Осояну с Марулой и Шамиль с гитарой. Холостяков в отряде было немного, раз-два и обчелся. И среди них Шарль Мбукву. Правда, он сам говорил: «С женитьбой успеется, у меня еще усы не растут». Да и подружка у него была, симпатичная мулатка Лола из Высшей школы программистов, на наших «междусобойчиках» она оставила самое доброе впечатление. Шамиля же вообще трудно было причислить к холостякам. Ну, во-первых, он вечно ходил в обнимку со своей гитарой, а во-вторых, благодаря ему вечерний холл в нашем отсеке притягивал самый хорошеньких на Марсе женщин: очевидно, смоляной чуб Шамиля, гитара и заманивающий баритон были для них неодолимой гравитационной силой. Вообще же к нам на огонек забредали разные интересные люди: философы, музыканты, поэты...

Ритм жизни десантников не из веселых. Два с лишним месяца мы «в поле», это время наши женщины скучают, жмут по работе, сидят в библиотеках, изучают древние языки и ежедневно шлют письма детям на Землю, лишь по воскресеньям собираясь на чашечку шоколада к Сюзанне или Верочке. А потом мы возвращаемся из экспедиции усталые как черти, взвинченные и соскучившиеся по семье, по домашнему уюту. Десять дней мы отдыхаем, отсыпаемся, ходим в сауну и на концерты, играем на бильярде, вспоминаем свои хобби (я, например, способен без конца перебирать грузила, поплавки, наживки, блесны и прочие снасти), разговариваем по теле- с далекими сыновьями, просто так, без единой мысли в голове, часами сидим в парке,— и все эти дни жены безотлучно с нами, на работе у них тоже отпуск. Потом нас мало-помалу начинают тормошить врачи, тренеры, инструкторы, методисты, юристы, космологи, психологи, плазменники и прочие специалисты; считается, мы еще в отпуске, но практически весь день заняты — десантнику надлежит быть в форме и во всеоружии новейших знаний. Вот в это-то время и начинаются обычно наши «междусобойчики». Следующий месяц перед новым броском к черту на рога

мы сидим на строжайшем режиме и после очередной порции трюков на тренажерах и экзаменов по новой технике возвращаемся домой только к ночи.

Наши женушки вкладывают в «междусобойчики» всю душу. Развлечений на Марсе немного, да и приелись они давным-давно. Вот и стараются женщины хоть немного растормошить нас перед новой дорогой, новой порцией «пояснятины» — наши благоверные очень хорошо знают что почем между Марсом и Юпитером!

Помню один из первых, а может, и первый «междусобойчик», в котором приняла участие Эвелин; до того она жила на Земле. Костос и Шарль обратили наш холл в необитаемый остров, то есть попросту спроецировали на его стены океан и включили «морской ветерок». Верочка и Марула жарили «на костре» в центре острова свежую рыбу на рожне. И музыка была соответствующая, какая-то первобытная-дикарская. Шамиль, извлекая из своей гитары невообразимо антиэстические звуки, пел Арию Людоеда из оперы «Астероид моей мечты». Франц дул в хрипящую дудку, а Герд монотонно лупил в импровизированный там-там колотушкой из деревянного кухонного набора. Все скопом изображали дикарские танцы вокруг костра. Лола и новая подружка Шамиля, хорошенькая и грациозная, недурственно изобразили «танец марсианских лебедей». Словом, абсолютный идиотизм, именно то, что нужно для полного отключения от всех забот. Даже я, сибирский медведь, и то развеселился, забыл на время свои мормышки и «настрои», свои кассеты с изображением прелестей горноводных маршрутов и книги о тайге. То есть дурачился, плясал и подвывал вместе со всеми, уплетал подгоревшую рыбу и даже, к большому удовлетворению Верочки, спел, а точнее, прокричал куплеты марсианского Мефистофеля; полагаю, это был образец безвкусицы, однако все в лежку лежали. Потом пошли обычные игры во «флирт» и «умыкание невест», в «сыщики-разбойники» и «холодно-жарко». Словом, веселились кто во что горазд, совершенно естественно и непринужденно.

И вдруг зазвучала какая-то мистическая музыка, и в наряде летучей мыши, с зелеными перепончатыми крыльями, появилась наша новенькая, пышнотелая супруга Герда — Эвелин. Я сказал «в наряде», но одеяние это из тончайшего шелка было таково, что скорее раздевало нашу «летучую мышку», причем поочередно со всех сторон, включая те части тела, которые порядочная женщина хотя бы символически прикрывает. Я, конечно, не большой специалист в хореографии, но жанр этого выступления определил бы как «выпендреж». Танец кончился, все в недоумении переглянулись; раздались жидкие аплодисменты.

Ну хорошо, мало ли что может случиться, дамочка не знала наших обычаев, неудачно пошутила, или наоборот, вознамерилась блеснуть, да перехватила через край, а потом усвоила что к чему и, как говорится, вошла в норму. Ничего подобного! Эвелин и на следующих «междусобойчиках» выступала с безвкусными рискованными танцами, являлась в излишне смелых одеждах и демонстрировала ножки. Ножки-то у нее и в самом деле были... сногсшибательные.

Более того, она постоянно по поводу и без повода атаковала нашего брата, вздыхала, закатывала свои цвета тины глаза, стыдливо опускала ресницы и кусала жадные ярко-красные губы. Правда, на меня лично ее кривляния не действовали совершенно, в них даже обычного женского кокетства не было, голая имитация страсти. Лучшей половине нашей компании это не понравилось. Дамы по-свойски потолковали с Эвелин, однако общего языка не нашли; Эвелин считала свое поведение «талантливым и безукоризненным».

Через несколько дней Шарль Мбукву, наряженный рыбаком, то есть в холщовых шортах и с удочкой в руках, в водоеме нашего холла изловил себе на беду... русалку. Пожалуй, излишне тяжеловатую для его поджарой фигуры, зато совершенно настоящую. Конечно, на ней сверкала прозрачная «чешуя», но в общем это была натуральная голая русалка с водорослями в волосах. Ноги ее были запеленованы чем-то и обратились в роскошный рыбий хвост. С этой-то безногой русалкой Шарль и танцевал полчаса, причем ее белые телеса особен-

но непристойно смотрелись на фоне черной кожи Шарля. На сей раз аплодисментов не последовало.

— Она что, больная? — спросил я Верочку через пару дней.

— Ты о ком? — не поняла она.— Ах, об Эвелин! Ну, раз уж и до тебя дошло, значит тут и вправду что-то не так. Видишь ли, она просто вносит в нашу пресную жизнь «изюминку». По крайней мере, старается...

—Изюминку?!

— Ну да, подзадоривает вашего брата.

— Подзадоривает? Зачем?

— Ну, вероятно, чтобы там... на астероидах, вам было что вспомнить.

Я покачал головой.

— Едва ли я буду вспоминать русалочий хвост!

— Ты, Дима, статья совсем особая,— рассмеялась Верочка, разворошив мне чуб.— А кое-кто в восторге...

— Кто же?

— Неужели ты уж настолько медведь? Разве не заметил, что Лолу как ветром сдуло из нашего холла?

— Может, у нее экзамены? Или практика? Или в отпуск улетела к себе на Кубу?

Вера посмотрела на меня выразительно, однако ничего не сказала.

Мы сидели рядышком, изучали видеокаталог горноводных маршрутов Забайкалья; на экране перед нами бушевала, едва ль не обдавая брызгами, с сумасшедшим перепадом речушка; вся в белой пене бурунов промелькнула байдарка. Естественно, разговор на этом и оборвался, а вернуться к нему, видно, повода не подвернулось, да и Верочка моя не любительница распространяться на подобные темы.

А я... видите ли, я слишком высоко ценю Верочку, до сих пор глаз отвести не могу. Поэтому чары Эвелин до меня вообще не доходят. Да и по мне хохотушка и проказница Лола куда женственнее и заманчивее, чем самовлюбленная Эвелин. А вот Шарль... Пожалуй, на него расчетливые чары Эвелин действовали. Хотя он был моложе ее лет на восемь-десять. Вероятно, действовали... по крайней мере, так мне теперь кажется. Да и Вера намекала.

Поймите меня правильно, я ведь по сути не такой уж медведь и верхогляд, чтобы не заметить каких-то существенных событий в жизни, тем более Герда и Шарля, с которыми вместе работал. Но по сути я домосед, мне куда как приятнее окунуться в хороший фильм о таежных путешествиях, хотя бы мысленно подержать в руках спиннинг, пройтись по упругой моховой подстилке таежной тропы и припасть губами к прозрачному лесному родничку. То есть я и на Марсе не могу без Сибири. А на эти «междусобойчики» хожу больше из-за Верочки, все же нельзя лишать человека развлечений, тем более, она еще совсем молоденькая у меня. Так что всему, что там происходит, я придавал мало значения. Может быть, напрасно.

И вдруг через месячишко-другой Верочка сама заговорила об Эвелин, причем в тонах излишне восторженных. Как я понял, ее подкупили не столько новые танцы и пантомимы Эвелин, сколько воинственные рассуждения о женском первородстве, о превосходстве утонченной женской натуры над грубой мужской. Я как умел высмеял эти убогие «воззрения».

— Но ты ее совсем не знаешь, Дима! — упрекнула меня Верочка.— Она куда глубже и значительнее своих танцев.

— В чем же это выражается?

— В убеждениях.

— У Эвелин — убеждения?

— Представь себе! Например, она считает, что естественное поведение женщины — лишь минимум женственности. Женщина должна всю жизнь шлифовать себя, как драгоценный камень. Только артистизм, ставший второй натурой, гарантирует полное выявление всех богатств женской души...

Я расхохотался:

— Типичная Эвелин! Мое счастье, что ты не применяешь эти бредни на практике.

— Ошибаешься, Дима,— обиделась Верочка.— Я применяю. С детства следую правилу: моя маска — естественность!

Я обнял ее.

— Ах ты, пичужка моя! Но ведь это совсем другое дело! Кстати, посоветуй примерить свою маску Эвелин...

Зима промелкнула незаметно. «Междусобойчики» продолжались как ни в чем не бывало; Эвелин стала строже, сдержаннее, и если что-то еще позволяла себе, то не столь экстравагантное; Лола в нашем обществе больше не появлялась, я даже не удосужился поинтересоваться, что с ней; отношения между Гердом и Шарлем оставались в норме — что еще?!

Хотя... может быть, и не совсем в норме. Но это уже такие нюансы... такие психологические тонкости... к тому же перед каждой новой экспедицией мы проходили испытание на совместимость и всегда гордились высоким индексом нашего экипажа — обычно за 90 (при минуме 75). Я хочу сказать, Герд все азартнее подначивал Шарля в спорах, и Шарль все чаще заводился. У них уже выработались темы, в которых сразу, без подготовки они бросались врукопашную. И каждый раз Шарль выходил из себя, а Герд все более язвительно (и как мне казалось, холодно и расчетливо) подзуживал его. Впрочем, возможно, все это мнится только теперь. Тем более, что спорщиков среди поясников хватает и без нашего экипажа — один темпераментнее другого.

Вот такова была обстановка, когда на горизонте появился некий Торп с заданием снять фильм о десантниках Пояса. Красавчик Торп, хвастун, пижон и бабник. Пожалуй, единственный, кто мог оценить поруганные хореографические таланты Эвелин. Он и оценил: снял для своего фильма в эпизоде «быт и отдых поясников» безвкусную «Летучую мышь». Дал понять своим будущим зрителям, какие дремучие люди эти десантники. Эвелин была на седьмом небе. И еще до того, как закончились съемки других эпизодов, улетучилась на Землю. Вскоре уехал и Торп. Герд не сказал ни слова, да мы и не спрашивали его; утешения не в правилах поясников. Тогда было вполне естественно связать побег Эвелин именно с Торпом, но я почему-то не связал. И вот Герд наконец-то произнес это имя, уже здесь, на Язоне.

Первое время Герд Лаубе был расстроен и молчалив; мы старались ни словом не напоминать ему об Эвелин. Но что странно, пожалуй, не меньше был расстроен и Шарль. Летом отправился в отпуск на Землю, а Герд, напротив, предпочел остаться на Марсе и напросился с Францем на Диоскуры. Этой увлекательной экспедиции ему, видимо, хватило, чтобы полностью прийти в себя. Во всяком случае, дискуссии между спорщиками возобновились.

И вот Шарль мертв... Герд ведет себя странно, скользко, зачем-то спрятал от меня фотографию. А я сижу и пытаюсь разобраться в причинах, которые могли бы толкнуть Герда на убийство, точнее — на доведение до гибели. И все более уверяюсь, что таковых не было, не могло быть...

А ведь стоит лишь предположить — она умчалась на Землю не с Торпом, не ради Торпа, а ради Шарля, и летом они встретились... Вероятно, у нее с Гердом было объяснение, и она назвала Торпа. Да Герд и без того должен был догадаться, на кого грешить; все-таки Эвелин не вовсе же лишена артистических способностей! Да и Торп наверняка приударял за нею, не будь он тогда Торп. Что же получается: Торп был ширмой? Она ведь могла попросить его по крайней мере не отрицать, что едет с ним. А когда Эвелин улетучилась, Шарль больше всех сочувствовал Герду, изображал огорчение. И лишь недавно Герд случайно узнал, что Эвелин провела лето... скажем, в бамбуковой хижине на берегу Атлантического океана.

Но тогда... тогда баба, подложенная Гердом якобы благодаря вольной жизни на Диоскурах, отпадает. Одно дело — невинный розыгрыш, совсем другое — заранее задуманное убийство, тут уж не скроешься от Франца Рюша, слишком рискованно. Да и ампула, увиденная во сне... Все это глупости. Если Герд задумал убийство, он мог бы найти способ и попроще. Скажем здесь же, на Язоне, они двадцать раз проходили вдвоем мимо такой же расселины; столкнуть в пропасть ничего не подозревающего человека — что комара на лбу пристукнуть. Но...

Мне странно мешало это «но». Допустим, твоя жена, даже горячо любимая, ушла к другому. Пусть они тебя обманули, облапошили... Однако же за это не убивают. Это дело... ну, если не нормальное, то обычное... От многих рано или

поздно уходят жены, и часто к твоему другу... Что теперь, всех убивать, как в девятнадцатом веке? Как это у них называлось — стрелялись из пистолетов, сражались на шпагах? Нужно какое-то мощное сопутствующее чувство, чтобы настолько возненавидеть соперника. Какое?

И тут я вспомнил, что в далеком прошлом негра, полюбившего белую женщину, в Америке попросту линчевали. Вот оно что — расовая нетерпимость! Если бы лицедейка Эвелин предпочла ему кого-то из нас, равных ему, Герд, вероятно пережил бы это более-менее спокойно. Но предпочесть арийцу человека второго сорта, негра — нет! Такую провинность следовало жестоко наказывать... Да ведь и в легенде о Златокудрой Изольде доблестный Гога лишь потому столь беспощадно наказал свою возлюбленную, что соперником его оказался не достойный понимания десантник, а жалкий повар! Так вот почему они все яростнее схватывались последнее время на почве антропологии и истории происхождения человека! Возможно, эта чисто теоретическая дискуссия началась еще во времена летучей мыши и русалки, когда Шарль явно и открыто восхищался Эвелин...

Но откуда взялась в Герде эта грязная, допотопная, давно преодоленная человечеством расовая нетерпимость? Вспыхнула в припадке ревности? Постепенно расцветала, как некое потайное хобби, пока вдруг не началась неуправляемая цепная реакция? А кстати, в Герде всегда проглядывало нечто такое... какое-то хорошо скрываемое высокомерие. Во всяком случае, на Шарля он точно смотрел свысока...

Найдя как будто искомую причину, я уже готов был признать версию отработанной. И тут возникла простейшая в своей наивности мысль: а как же попала к Герду фотография Эвелин с Шарлем, коли снята она прошлым летом на Земле, скажем, возле бамбуковой хижины? Не Шарль же привез ее Герду по поручению Эвелин! Тут что-то не то. И хотя сразу же возникла другая догадка: ведь Герд мог обнаружить фотографию в каюте Шарля, просто случайно обнаружить,— версия на глазах рассыпалась. Не такой уж наивная Шарль, чтобы держать фотографию на видном месте, где ее мог бы заметить бывший муж Эвелин. Другое дело, что Герд нашел ее теперь, после загадочной гибели Шарля и, испугавшись, что я все истолкую на свой лад, поспешил спрятать в физзале... Но это означало бы, что Шарль погиб совсем по другой причине, не по замышлению Герда...

Н-да... И вообще, не кажется ли вам, други, что я попросту подгоняю немного известные мне факты из личной жизни Герда, Шарля и Эвелин под заранее определенную схему? Черт возьми, такая логика немного стоит! Следовало все прокрутить еще раз, более основательно.

Однако почему-то опять возникла мысль: «Все это чепуха, разгадка связана с Балатоном!» Дьявольщина, кто же из них был на Балатоне?!

7

Вот и на сей раз моя попытка прийти к чему-то зашла в тупик. Более того, нечего было и пытаться размотать этот клубок с Эвелин, пока не узнаю наверняка, что у нее было с Торпом и Шарлем, да и было ли вообще. А истину, и то относительную, я услышу лишь в Подснежниках, наверняка Верочка, а тем более Марула, состоявшая с Эвелин в переписке, знали куда больше меня.

Так что вроде бы все возможности моего самодеятельного следствия были исчерпаны, и по логике вещей полагалось мне успокоиться и подумать о снятии экспедиции с Язона и возвращении на Марс. Во всяком случае, согласитесь, доводы в пользу такого решения были. Но десантники не любят отступать. Тем более это относится ко мне, потому что в мне самым удручающим образом сплелись черты характера десантника и сибиряка. Упрямый сибирский медведь...

Мне казалось, есть у меня в запаснике кое-что еще. Ну, прежде всего Балатон... Хотя при чем тут Балатон? А кроме того, собственный пятнадцатилетний опыт освоения Пояса. Хотя свой-то опыт я на зубок помнил — ничего подходящего к случаю в нем не откопаешь. Я пришел в отряд поясников, когда в ближнем космосе уже был наведен относительный

порядок. А до того всякое бывало. Но об этом уже шла речь — в связи с фольклором.

Да, когда я неоперившимся птенцом пришел к поясникам, среди астероидов еще болтались остатки былой вольницы. Правда, все бывшие флибустьеры впали в состояние самое жалкое, и мы не столько боролись с ними, не столько выслеживали и принуждали сдаться, сколько спасали. Вот и мне довелось отхаживать на Архимеде двух изможденных, ссохшихся из-за недостатка воды пиратов и насильно угощать кислородом замуровавшегося в пещере на безымянном осколке трехсотлетнего «старца», не желавшего «помирать в миру». С тех пор в окрестностях Марса можно жить более-менее спокойно. Хотя еще года три назад ребята помогали властям Нью-Порта принудить к посадке вполне современный торговый шлюп — его угнала банда грабителей, надеясь сбыть краденое колонистам и шахтерам. А два года назад циркулировали слушки, о которых я уже докладывал,— об отшельницах, тоскующих по мужскому полу. Впрочем, слухам этим я не поверил. Потому, в частности, что я и сам в известной степени — история Пояса, а ни разу еще...

И вот тут я наткнулся на мысль, которую должен был прокрутить значительно раньше. Допустим, я и сам история Пояса. Я служу космодесантником пятнадцать лет, шестнадцать. А Великая Чистка завершилась двадцать лет назад, соглашение между Подснежниками и Нью-Портом принято еще раньше. Значит, между Великим Фольклором Пояса и новейшей историей, которую я творил своими руками, существует промежуток, белое пятно. И судить о нем я могу лишь по рассказам старших товарищей, моих наставников...

«Черт возьми! — воскликнул я. Потому что вспомнил вдруг про капитана Дьероши.— Так вот при чем тут Балатон!»

Эту историю Дьероши рассказал мне семнадцать лет назад, когда я зеленым стажером пришел в Отдел Пояса. С год мы работали в геодезической экспедиции, прокладывая трассы внутри Пояса, маркируя наиболее примечательные глыбы и устанавливая навигационные автоматы. Потом я сдал госэкзамены и был зачислен в отряд разведчиков. Помнится, меня от гордости распирало, еще бы, нашим отрядом командовал сам Вацлав Брода, именем которого назван астероид — как именами героев и мудрецов древности! В эти-то два-три года я и сдружился с капитаном Дьероши. Он пришел на астероиды, пожалуй, лет за двенадцать до меня. И вместе с Вацлавом Бродой, нынешним председателем Совета Марсоцентра, почитался одним из пионеров освоения Пояса. А был в то время Пояс архипелагом необитаемых островов. Лишь мы, разведчики, бороздили его проливы и фьорды, да еще три-четыре раза в год пересекали исследовательские рейдеры, державшие курс на Юпитер или Сатурн. Сдается мне, в те благословенные времена даже Кольцо Сатурна было ближе к Земле, чем наш Пояс. Стало быть, история капитана Дьероши относится к эпохе достаточно отдаленной, с тех пор минуло более двух десятилетий.

Мы, салажата, тянулись ко всему героическому, таинственному, связанному с историей открытия Пояса. Местом, где все это сосредоточивалось, был только что организованный музей Пояса, а смотрителем этого богоугодного заведения назначили знаменитого капитана Дьероши. Был он еще не стар, но сед и выглядел стариком. Да по какой бы еще причине посмели списать на берег столь известную личность?! Он казался невзрачным, рассеянным, чудаковатым, тогдашние поясные волки не принимали его всерьез. Мы же, птенцы, обожали старика, заслушивались его рассказами. Почему-то из всех стажеров он выделил Димку Хлебникова, ласково обращался ко мне «мальчик мой» и в конце мне одному под большим секретом поведал историю, собственно, и ставшую причиной ему досрочной и не больно-то почетной отставки.

Я и сам задаю себе вопрос: почему же не вспомнил про Дьероши, когда мусолил легенду о Златокудрой Изольде? Вроде бы очень кстати. И не могу ответить. Видно, не поддается осознанию, что я сам и мои друзья, пусть старшие,— тоже история Пояса. Причем достаточно далекая, где-то соприкасающаяся аж с локонами Изольды. А кому

хочется признавать себя пожилым?! Правда, у меня еще девять лет в запасе. Может, еще накинут год-другой. Так-то я ничего, переживу почетные проводы на Землю, по совести, давненько уж тянет посидеть со спиннингом на берегу горной речушки. Да перед Верочкой стыдно. Все-таки она моложе меня, в таких случаях мужичок должен изо всех сил тянуться и держать себя в форме, как выразилась Эвелин...

Кстати, вот уж что воистину мне надоело — метаться в поисках разгадки между Поясом астероидов и поясом Эвелин! Голову даю на отсечение, это ненормально. Да, видно, ситуация такова...

Итак, капитан Дьероши возвращался на Марс, высадив экспедицию на какой-то крупный астероид, не помню уж, какой именно. Настроение было превосходное, «посудина» вела себя отлично. Это был экспедиционный корабль типа «линкольн», один из первых в серии, по сути, опытный образец. Он обладал завидными по тем временам скоростью, маневренностью и автономией, но брал на борт всего трех пассажиров. Так что капитан Дьероши возвращался на Марс, как вы помните, один. А «линкольны» эти создавались по совместному проекту «Интеркосмоса» и «Космикюнион» специально для исследований Пояса, этакие верткие миниатюрные катера, рядом с прежними химическими гигантами — прямо блоха.

И вот где-то на границах Бабая, близ оси Пояса Дьероши едва не врезался в довольно потрепанную химическую ракету без сигнальных огней. Это был старинный пассажирский лайнер первого поколения, курсировавший в незапамятные времена по маршруту Марс — Уран и прозванный «межзвездной каретой». Лайнер был целехонек, но следовал каким-то несуразным диагональным курсом, и главное, без огней. Словом, Дьероши заподозрил неладное, попытался выйти на связь, а когда не получилось, без разрешения причалил в эллинг для планетокатера. Автоматика сработала, люк открылся, но переходной шлюз не дал наддува, и Дьероши не раздумывая, прямо в скафандре, проследовал внутрь.

— Мальчик мой, до того момента я понятия не имел, что такое страх,— говорил старый капитан, и в глазах его тлел задорный огонек нерастраченного азарта.— Мне казалось, самое ужасное — разбитые, искареженные ракеты, изуродованные тела. Как я ошибался! Страх — это свидание с Неизвестным, мой мальчик...

Гигантский корабль без сигнальных огней был необитаем. Все в нем оставалось исправно. Двигатели имели большие запасы топлива, до сих пор функционировали система регенерации воздуха и некоторые другие системы. Склады ломились от продовольствия и воды. Ядерный генератор работал как часы. Еще не совсем разрядились аккумуляторы. Не хватало лишь пассажиров — трехсот тридцати человек, включая экипаж. В каютах лежали раскрытые книги, стояли не допитые стаканы. В кают-компании осталась незаконченной партия в звездное домино. Компьютер в командирской рубке выдал ферроленту расчета курса. Только бортового журнала и судовых документов не сохранилось. И никаких следов аварии, бунта, болезни, разгерметизации, паники поспешности — ничего! Люди словно враз испарились с корабля.

— Вот когда вспомнилась и схватила за горло Златокудрая Изольда. Так схватила, что не вздохнешь,— рассказывал Дьероши.— Это здесь, на Марсе, проделки Изольды приятно волнуют. А там, в бездне, кровь леденят. Но Неизвестное, с которым я столкнулся, пострашнее Изольды, мой мальчик...

Дьероши в смятении еще и еще раз обошел помещения корабля. Судя по всему, здесь ехали сменщики на один из обитаемых астероидов-рудников. Среди пассажиров были женщины и дети. Да, да, в одной из кают остался угловатый рисунок: под елкой сидит взъерошенный заяц с недоуменно опавшим ухом и смешливыми косыми глазами. Детский рисунок. А в другой незаконченная вышивка гладью — трогательное рукоделие, которым от века занимаются женщины, ждущие первенца. В командирской каюте на самом видном месте висела форменная фуражка — может быть, не случайно оказалась она здесь, а не в шкафу. И больше ничего примечательного...

Лишь через два часа, уже собираясь покинуть мертвый корабль, заглянул Дьероши в носовой отсек. Заглянул — и остолбенел: от навигационного пульта остались жалкие осколки, он был поспешно и варварски разрушен. Кто-то намеренно лишил корабль зрения, слуха и ориентировки. Кто? Зачем? И куда подевались люди?!

В подавленном состоянии Дьероши оставил «летучего голландца» и, едва втиснувшись в свое пилотское кресло, дал полный вперед. Об эллинге он и думать забыл. Раздался взрыв, тело сплющило и вдавило в амортизаторы, скрежет за бортом больно царапнул слух. Но в следующее мгновение «линкольн» дернулся и пошел ...однако не прямо, а по кругу. На экране панорамного обзора появилась удручающая картинка, действовал лишь правый двигатель, левый был поврежден, и на его хвосте раскачивались бренные останки эллинга, «с мясом» вырванного из корпуса лайнера. Воистину черт знает что!

Силен же оказался «линкольн»! Дьероши махнул рукой, выровнял корабль и на одном двигателе добрался до ближайшего астероида. Это был мелкий осколок «никакой формы». Здесь Дьероши в первую очередь избавился от зацепившейся за хвост конструции, бегло осмотрел поврежденный двигатель, убедился, что ремонт не осилить, а лучше по-тихому трогаться на одном, правом. Можно было отправляться, когда он почувствовал вдруг приступ совершенно необъяснимого ужаса. «Ужасного ужаса»,— подчеркнул старик, обожавший сильные выражения. Чувство это, видимо, нарастало — от смутного беспокойства, от тревоги и недовольства собой — до того самого пика, когда власть над человеком берут первобытные инстинкты.

— Мальчик мой, каждому из нас уготован в космосе свой уголок. Тот, где мы седеем за полчаса. И за несколько дней становимся стариками. Я свой нашел, теперь своя очередь. Постарайся, чтобы произошло это не так скоро...

Истинно в корень смотрел тогда мой старший друг. Но что мог понять в те времена я, мальчишка? Хорошо хоть — запомнил!

— Этот ужас буквально сковал меня,— рассказывал Дьероши,— я задеревенел, я не мог шевельнуть пальцем. Стоял и стыл в приступе ужаса. И лишь чуть позднее заметил, что на меня и на корабль с ближайшего скалистого гребня направлен бледный голубоватый луч. Заметил только потому, что у корабля появились вдруг слабая тень и тень эта почти неуловимо пульсировала. Однако стоило мне осознать причину моего состояния, как воля вернулась ко мне, и я на какое-то мгновение сумел пробить опутавший меня кокон ужаса. Как правы были наши наставники, добиваясь от нас автоматизма реакций! Я прыгнул в корабль и тут же стартовал с проклятого осколка, еще не сообразив, что единственное спасение — бегство. А когда поднялся над каменной глыбой, когда груз страха свалился с плеч, я увидел внизу, в скале, черное жерло пещеры, замерший вездеход устаревшей конструкции и двух людей в скафандрах, гневно простерших ко мне кулаки. Представь себе, мой мальчик, сколь велик был охвативший меня ужас, если я не полюбопытствовал, что это за луч, что за люди, если даже не сообразил снять координаты астероида...

Прибыв на Марс, капитан Дьероши немедля доложил о происшествии начальству, ему не поверили, но через тридцать шесть часов в тот район стартовали два патрульных корабля, «Северский» и «Кэннинг», избороздили всю округу, но ни указанного астероида, ни «летучего голландца» не обнаружили. Не обнаружили их и в процессе дальнейших поисков. Вот почему после кучи неприятных медико-психологических процедур капитану Дьероши пришлось досрочно оставить космос и списаться на берег. Да он и сам понимал, что потерян для космических трасс. Там, в сиянии бледно-голубого луча, погибло его бесстрашие, испарилось его «я».

Итак, он потерял космос. Но загадка осталась при нем, и он не пожелал признать ее ни бредом, ни ложью, ни фантазией. Ему не поверили, его осмеяли — так хорошо же, он справится и в одиночку! Два года старый космический волк просидел в библиотеках и архивах Марса. И нашарил-таки разгадку. В его руках оказалась копия любопытнейшего документа: своеобразная виза на выезд за пределы цивилизации «в направле-

нии Пояса астероидов». За полвека до случившегося, в период «космической вольницы», отправилась искать счастья в безжизненное пространство немногочисленная община «Островитяне», преимущественно ученые и философы, сто сорок два человека, мужчины и женщины, полагавшие, что именно община, изолированная от человечества, является оптимальным фактором развития личности, наиболее полного выявления всех заложенных в ней способностей. Судя по документу, это была именно община, дерзнувшая на головокружительно смелый эксперимент, ни в коем случае не секта. Было похоже, экспедиция всесторонне продумана и отлично организована. О дальнейшей судьбе общины сведений добыть не удалось.

— И я понял, что со мной произошло, мой мальчик,— закончил свой рассказ Дьероши.— Я случайно ворвался в их владения. А они, не желая проливать кровь незваных гостей, установили на своем астероиде нечто вроде отпугивающего устройства — Голубой Луч. Они попросту спугнули меня. Как муху. «Голландца» же объяснить еще проще. Им необходимы были люди, добровольцы, желающие продолжить дерзкий социальный эксперимент. Может быть, большинство их колонистов погибло, состарилось, может быть, на астероиде не рождались дети, мало ли что... А «Островитяне» хотели жить, хотели продолжить свою свою коммуну. И тогда они простейшим способом вынудили экипаж и пассажиров лайнера добровольцами вступить в общину. Действительно, что еще оставалось людям, обреченным на вечные скитания в космосе? Вот и все, мой мальчик.

— И вы проинформировали об этом своем открытии руководство?

— Проинформировал,— как-то жалко усмехнулся бывший знаменитый капитан, ныне хранитель музея.— Я четыре раза писал в Марсоцентр и в Академию наук. И каждый раз меня снова и снова направляли на различные медицинские экспертизы. Будто загадка во мне... Старые друзья говорят: обратись в Верховный Совет. А зачем? Чтобы вызвать новую порцию насмешек? Для них,— он махнул рукой куда-то за спину,— я всего лишь выживший из ума старикашка, меня и со службы-то списали по статье «психические расстройства». Кто станет меня слушать? Тем более искать неведомый населенный астероид? Наткнутся когда-нибудь — вспомнят Дьероши...

— Значит, ни астероид, ни корабль до сих пор не обнаружены?

— В том-то и дело! И это еще одно доказательство обитаемости астероида. Лайнер они или уничтожили, или, придав ускорение, отправили подальше. А сами «сползли» с орбиты и притихли.

Вскоре я узнал, что капитан Дьероши утонул, купаясь в Балатоне. Хотя был отличный пловец. Вот такая мне вспомнилась история. Не знаю уж, кстати или некстати. И вот что значил не дававший мне покоя Балатон.

Впрочем, теперь я понимаю, почему легенда о Златокудрой Изольде не вызвала в моей памяти Голубой Луч капитана Дьероши. Да и голубые зарницы не ассоциировались с этим самым Лучом. Все-таки, как я ни любил старика, а десяток авторитетных медицинских комиссий с весов не сбросишь. Да и общественное мнение. Одним словом, чудак, чокнутый на своих страхах. Вот почему рассказ Дьероши был для меня в известной степени менее достоверен, чем фольклор. И вспомнил-то я эту горестную эпопею, честно говоря, случайно. Н-да...

Здесь, мне кажется, следует обратить внимание на несколько моментов. События, о которых поведал капитан Дьероши, тоже происходили близ осевой линии Пояса, то есть как раз на расчетной орбите Фаэтона, если он когда-либо существовал, и на орбите Язона, что для нас весьма существенно. Не говоря уж о близости Бабая. Когда я впервые обратил внимание на эти совпадения, у меня нутро захолодело. Далее. Старый капитан результаты своих архивных изысканий не публиковал, а если кому и рассказывал, как мне, то всерьез их едва ли кто воспринял. Во всяком случае, никто больше космическую общину «Островитян» не разыскивал, и слухов о ней не ходило. Наконец, луч, ввергший Дьероши в состояние «ужасного ужаса», был голубого цвета, точнее, бледно-голубого.

У меня нет оснований не верить старику; он меня любил и немало способствовал моему становлению как исследо-

вателя Пояса; правда, он, вероятно, и в самом деле был, мягко говоря, чудаком,— но кого не свихнет подобное происшествие? Теперь, когда космос практически чист от разного рода человеческих отбросов, я бы ему, пожалуй, поверил; а в те времена всякого случалось, да я и сам знавал законоотступников, отбывших наказание. Итак, следует принять эту историю на веру и попробовать извлечь из нее нечто...

Если микроцивилизация ученых и философов просуществовала на астероиде первые полсотни лет, почему бы ей не протянуть следующие двадцать с небольшим, то есть до наших дней? Тем более что «Островитяне» получили солидное подкрепление. Вполне вероятно, община здравствует и поныне. Правда, от первоначальных устоев в ней, скорее всего, мало что осталось. Если уж они так опасаются контакта с представителями породившего их человечества... Скорее всего, община выродилась в секту, деградировала, как всякая замкнутая группа, и ныне из последних сил борется за существование. Возможно, секта держится усилиями лишь двух-трех фанатиков — старейшин, а не они — потомки свободных «гениев» давно уж сдались бы патрульной службе. Надо полагать, прозябание на пустынной глыбе многим надоело до чертиков, а уж «добровольным пленникам» подавно. Это обстоятельство наводит на мысль о железной руке, о диктатуре, достаточно сильной, если «Островитяне» до сих пор не призвали на помощь патруль.

Стало быть, обороняться от непрошеного вторжения они будут еще более отчаянно, чем двадцать лет назад; не удастся «отпугнуть» — пойдут на уничтожение, выбора у них нет; да еще комплексная экспедиция — младенцу же ясно, эти «посетители» с их новейшими приборами в самые сокровенные глубины астероида проникнут! Надо полагать, главное оборонительное оружие «Островитян» осталось прежним, точнее — основанным на прежнем принципе, но, вероятнее всего, усовершенствовано. Каким образом? Во-первых, следовало отказаться от луча, луч указывает направление генирирующей установки, это опасно. Во-вторых, следовало дозировать и несколько разнообразить внушаемое чувство страха; дозировка, специализация и прицельность — неизбежные принципы совершенствования любого оружия. И в-третьих, по возможности замаскировать оружие под какое-то природное явление.

Далее. После непрошенного визита «линкольна» сектанты нашли способ «сползти» с прежней орбиты, но, видимо, не удалились значительно от гипотетической орбиты Фаэтона, коли она их чем-то привлекает. Координаты Дьероши не засек, но ориентировочно местонахождение известно — близ границы Большого Бабая. По словам капитана, осколок был из небольших и «никакой формы». Все это весьма напоминает форму, размеры, координаты и орбиту Язона, хотя, конечно, подобных глыб множество. Но если даже секта вынуждена была покинуть свой прежний «дом» и перекочевать, выбор вполне мог пасть на Язон — близкое расположение, незначительные размеры, неприметельная форма. Короче, не исключено, что мы попали в ситуацию Дьероши. Как верно предсказал старик, «наткнутся когда-нибудь — вспомнят».

Единственное, что меня смущало, это слишком уж наглядное совпадение: когда-то Дьероши рассказал о Голубом Луче Дмитрию Хлебникову — Дмитрий Хлебников и угодил под прелести Луча. Хотя, если подумать, старик мог поведать эту историю не только мне, и теперь на моем месте любой, начисто позабыв ее, немедля вспомнил бы. А кроме того, нас не так уж много, опытных десантников, и на каждого падает пятьдесят-сто астероидов, так что вероятность совпадения не столь уж мала.

Это по части логики. Однако я и без логики недурно представлял себе цивилизацию Голубого Луча. То есть поначалу коммуна ученых-отшельников вырисовывалась передо мной довольно смутно, но вдруг в какой-то момент я точно прозрел, точно заглянул в этот мир через оконце в их искусственном небе — и сразу освоился, как если бы побывал у них в гостях.

Ну, прежде всего, прекрасно придуманная, оборудованная и оформленная полость в толще Язона виделась мне затхлой норой, не более. Я и Землю-то воспринимаю как остров, родной мне, достаточно простор-

ный, но уже несколько тесноватый. А тут — нора, кишащая гениями, каждый из которых мнит себя осью мироздания, а всех прочих — мелочью, мошкарой, разумной плесенью. И для этих-то гениев, для их оптимального развития оборудован «настоящий земной мир»: пластиковое голубое небо с кварцевым солнцем, чахлые кустики и вышарканная трава. Мир-суррогат, поддельное небо, фальшивое солнце, свежий ветерок-заменитель, регенерированная вода, эрцаз-хлеб...

По окружности — тесные соты кают, харчевня со строго дозированным питанием, бар с единственным коктейлем, который невозможно повторить, и баня с отмерянным автоматикой единственным кувшином теплой водицы. А в центре мира (или площади?) — убогий храм, где вождь (или жрец) проводит не то политзанятия, не то молебен и призывает прихожан размножаться, размножаться, размножаться. Потому что мир пребывает под угрозой вымирания. И затюканные гении оземь бьют челом перед последней еще способной рожать усталой женщиной. И с замиранием в сердце прислушиваются по ночам к неясным звукам: уж не пожаловала ли треклятая, морозящая кровь в жилах спасательная патрульная служба с Марса?

Вот таким образом проработав «сказочку» капитана Дьероши, я вернулся к трем нашим печкам. Ну, о зарницах, думаю, можно не распространяться, зарницы, если принять эту версию,— второе поколение Голубого Луча. Полагаю, и с бабой управимся без особого труда. Действительно, был же у первых коммунаров-общинников некий символ, так почему не баба с острова Пасхи? Тем более и здесь и там своеобразные и вполне сопоставимые (с точки зрения сектантов) «великие островные цивилизации». «Островитяне»! И не нужно было ее ниоткуда привозить — здесь ее смастерили, здесь! Разумеется, когда-то эта бабенция торчала на постаменте, ей поклонялись, может быть, молились, как некому общинному божку, тотему. Но позднее стало не до нее, идеалы поблекли, вера иссякла, и поколение недовольных властью фанатиков-вождей (или жрецов?) взбунтовалось, свергло прежнего кумира и вышвырнуло вон.

Но существует и еще более любопытное толкование использования бабы, правда, не столь очевидное. Ведь кто бы ни высадился на Язон, непременно обратит внимание на статую и приблизится к ней. Так почему бы не использовать ее как своего рода приманку, наживку? И не сфокусировать на ней эффект «феномена ужаса», тем более что от видимого луча скорее всего пришлось отказаться? Психологически точно и экономически выгодно, потому что действие ненаправленное потребовало бы значительно больших энергозатрат.

Остается третья «печка» — теорема Герлиха, а точнее, сумма информации, которую бедняга Шарль как будто бы получил возле бабы. Речь идет о его сообщении по переговорной, сначала достаточно связном (доказательство теоремы Герлиха), а затем все более отрывочном, путаном и эмоциональном, подтверждающем высокую степень взвинченности. Если основываться на фактах, что Шарль понятия не имел о теореме Герлиха (а в этом случае необходимо верить Герду Лаубе, иначе смешиваются две версии) и тем не менее дал довольно оригинальное ее доказательство... что он, как и мы, понятия не имел о цивилизации Фаэтона и тем не менее высказал достаточно категоричные суждения о ней (неважно, что это отдельные восклицания, он и в теореме опускал промежуточные звенья),— можно сделать вполне резонный вывод; зарницы, в отличие от Луча, вызывают не просто внезапный беспричинный ужас, а воздействуют постепенно, в достаточно широком информационном спектре, а потому воспринимаются как явление естественное. Очевидно, феномен зарниц, проникая в сознание прежде всего по зрительным каналам, оказывает на мозг какое-то информационное давление. И уж коли мы с Гердом испытали на себе всю прелесть зарниц (пусть в слабой степени), лишь просмотрев телезапись, следует сделать вывод о психофизиологической, информационно-нейронной сущности феномена зарниц. Действительно, они посылают в мозг ряд конкретных и последовательных представлений картин (теорема, «фаэтонцы понимали», «вольем свежую кровь», «великая нация», «трагический исход»,

«великолепное зрелище, неповторимое»), постепенно наращивая в психике объекта состояние ужаса. Не исключено, что этот ряд сливается в цельную эмоциональную программу, некое действо, направленно управляющее поведением жертвы (скажем, восхищение достижениями науки Фаэтона — картины жизни на нем — причины гибели планеты — осознание объектом собственного ничтожества на этом фоне — и осознание себя одним из обуянных паникой фаэтонцев). Именно в таком состонии Шарль бросился бежать и свалился в расселину. Не исключено, что и направление его движения было предопределено зарницами.

Вот таким образом перелопатил я версию, подсказанную капитаном Дьероши, и почувствовал себя, прямо скажем, неважно. Мышью, угодившей в мышеловку. Правда, мне показалось, избавиться от влияния зарниц не так уж сложно — стоит только не смотреть. Но в состоянии ли человек не смотреть, а точнее, не видеть — вот в чем вопрос.

Герду я решил пока ничего не говорить, в поведении Герда мне было далеко не все ясно, да и версия с обитаемым астероидом еще не улеглась в голове, оставались кое-какие сомнения. А тут как раз поступила ответная радиограмма с Марса. Первое, на что мы с Гердом обратили внимание, была подпись: Вацлав Брода. Сам председатель Марсоцентра! Значит, дело серьезное. Радиограмма гласила:

«Язон, Дмитрию Хлебникову.

Ваше сообщение изучается. Эксперты не исключают возможности случайной гибели Мбукву вследствие нервного кризиса, вызванного обнаружением статуи, сопутствующими этому событию красочными зарницами. Разрешаю продолжать исследования, вести пассивные наблюдения феномена зарниц, преимущественно помощью приборов. Регулярно информируйте обо всем происходящем. Будьте предельно внимательны и осторожны. Телом погибшего Шарля Мбукву поступить согласно уставу. Вацлав Брода».

Будто мы сами не знали, как поступить с телом Шарля!

У меня создалось впечатление двойственности радиограммы. С одной стороны, вполне понятная тревога. С другой — будто бы они нам не доверяют. Подозревают что-то: панику, трусость, сумасшествие. Ну да ладно, их там тоже можно понять. Однако своему единственному подчиненному я сказал:

— Значит, так, старина. Вместо обычных — тяжелые скафандры. Береженого бог бережет. Если возникнут зарницы, наблюдать только из вездехода, через экран. В случае чего — немедля прекращать наблюдения. Нацелим на феномен все возможные глаза и уши приборов. Исследуем толком статую и вокруг, хотя уверен — дело дохлое. Что еще?

— Забраться бы туда, на скалы. Прозондировать район. Плотность пород, температура...

— Заберемся. Еще?

— Да как будто все.

— Ну, все так все. Будем же мудры и осторожны, Герд. Не позволим себя облапошить.

— Не позволим — кому? — удивленно переспросил он.

— Кому, кому! — раздраженно передразнил я.— Святой троице: зарницам, бабе и Герлиху. Кому же еще!

(Продолжение следует)



Татьяна Чернышева

РУССКАЯ УТОПИЯ

Рядовому читателю кажется, что он хорошо знает, что такое утопия. И в самом деле, интуитивно мы утопию узнаем безошибочно. Однако при попытках рационалистически осмыслить сущность этого явления открывается такая масса противоречий, что у исследователя порой просто опускаются руки.

Прежде всего, не выяснены до сих пор границы этого явления, нет однозначного ответа на вопрос, что же такое утопия.

Автор книги «Русский утопический роман» В. Святловский (1922 г.) пишет об утопии В. Одоевского «4338 год. Петербургские письма», что «...утопия Одоевского лишена социально-политического элемента, который дает содержание всякой утопии»[1]. Поразительно! Автор утверждает, что в произведении отсутствует главный элемент, составляющий сущность утопии, и все же называет произведение утопией.

Кстати, о главном элементе. Другой знаток утопии А. Фойгт говорит о разнообразии утопий и называет по крайней мере три разновидности их — «хозяйственные, социальные и нравственные»[2]. В этих разных утопиях и главный элемент, очевидно, будет не одинаков. Более того, А Фойгт утверждает, что «во всех реформаторских движениях заключен элемент утопии; без него они даже и немыслимы»[3]. И современный исследователь утопического сознания (это еще одна ипостась утопии) в Америке вторит А. Фойгту, включая в предмет своего исследования даже... «тронные» речи американских президентов[4].

Современная наука связывает утопию с прогностической функцией сознания, и, согласно этому мнению, утопия оказывается чем-то органически присущим человеческому сознанию вообще[5].

Одним словом, границы утопии теряются в смежных областях. А ведь мы еще не говорили о жанровых границах утопии: утопический роман, государственный роман, философский диалог, социальный трактат, роман путешествий...

Утопия, с одной стороны, — это определенные жанровые формы, развивающиеся, меняющиеся, но все же достаточно четко очерченные. В. Святловский писал, что у утопии «выработались свои традиционные манеры, свой условный язык, своего рода ложноклассицизм»[6]. К числу этих «манер», повторяющихся и легко узнаваемых, ставших внешни-

---

[1] Святловский В. Русский утопический роман. Петербург, 1922. С. 42.

[2] Фойгт А. Социальные утопии. С.-Петербург, 1906. С. 6.

[3] Там же.

[4] Баталов Э. Я. Социальная утопия и утопическое сознание в США. М.: Наука, 1982.

[5] См.: Ляхович Е. С., Пчелинцева Т. А. Специфика форм утопического мышления.— Актуальные вопросы нравственного и эстетического воспитания. Томск: ТГУ, 1982. С. 77—85.

[6] Святловский В. Русский утопический роман... С. 4.

ми признаками жанра[1], исследователь относит крушения у неведомых берегов, сны и пробуждения, находки рукописей и т. д.

С другой стороны, утопия примыкает к области вообще необъятной — к области идеала, всяческих прекраснодушных мечтаний о счастливой и радостной жизни, даже к идиллии. Когда О. Уайльд говорил, что не хочет смотреть на карту, где не обозначена утопия, он, скорее всего, имел в виду именно эту обширную область, так как в классической утопии, если к ней присмотреться повнимательнее, нарисована картина довольно жуткая и совсем не идиллическая.

От идиллии и других мечтаний утопию, на наш взгляд, отличает то, что она, будучи гораздо более рационалистической, чем идиллия, например, пытается указать пути к достижению всеобщего счастья, дать какие-то рецепты устроения жизни человеческого общества. И все же наиболее общим и вместе с тем характерным для утопии является то, что она всегда сопряжена с мыслью о счастье и добре, о хорошей жизни для всех людей, о совершенном устройстве социума. Утопия всегда умозрительна, поэтому, кстати, все попытки осуществить самые, казалось бы, продуманные утопические проекты оканчивались, как правило, неудачей.

А начиналось все в давние времена. Ученик Сократа Платон написал диалоги «Тимей» и «Критий», в которых изобразил вымышленное, как полагают, государство атлантов и тем самым положил начало традиции жанра утопии, изображающей вымышленную страну, как считают исследователи[2].

Но для истории утопии, пожалуй, большее значение имели другие диалоги Платона — «Государство» и «Законы»[3], начинающие собою линию не только утопического романа, но в целом утопического мышления, утопического сознания в европейской культуре.

Мы не намерены анализировать содержательную сторону этих диалогов; она много раз подвергалась серьезному анализу, и оценки ее были самые различные — от восторженных до резко отрицательных. Нам сейчас важно другое. Платон полагает, что совершенной и счастливой, упорядоченной жизни людей можно достигнуть, найдя нужную структуру государственных и общественных установлений, издав совершенные законы. Так было создано первое в доступной нам истории утопическое представление о строго регламентированном, упорядоченном и потому счастливом обществе.

Большинство историков утопий выстраивает этот исторический ряд, ведя линию от Платона, через Т. Мора, Т. Кампанеллу и т. д., отбирая при этом те произведения, в которых надежды на достижение социальной гармонии возлагаются на правильное устройство социальной жизни, государственные установления и законы, которые регулируют все отношения между людьми.

Однако, на наш взгляд, утопию нельзя сводить только к этой линии, хотя линия эта заметна, активна и в структурном отношении наиболее, пожалуй, упорядочена. Начало другой, не менее важной традиции было заложено в те же стародавние времена.

Современник Платона и тоже ученик Сократа, соперничавший с Платоном в любви к учителю и верности его идеям, — Ксенофонт — написал «Киропедию», книгу, которую иногда называют романом о Кире, иногда — псевдоисторическим сочинением. И снова, оставив в стороне анализ и оценку идея Ксенофонта, заметим лишь, что автор «Киропедии», в отличие от Платона, мечтая об устройстве человеческих дел, уповает не на строгие законы, разумно регламентирующие жизнь, а на волю мудрого правителя, царя. Царь, конечно, тоже издает законы, однако для Ксенофонта не менее важно нравственное влияние царя на

---

[1] Это уже история. В XX веке внешние формы утопии претерпели значительные изменения.

[2] См.: Борухович В. Г. «Киропедия» в истории греческой прозы.— Ксенофонт. Киропедия. М.: Наука, 1977. С. 274.

[3] Историки утопий зачастую вообще не упоминают об Атлантиде Платона, но «Государство» и «Законы» в список утопий включают непременно (см.: А. Свентоховский. История утопии. М., 1910). Иногда, правда, оговариваются, что хотя эти сочинения Платона и не являются, собственно говоря, утопиями, но идеи, выраженные в них, оказали огромное влияние на всю историю утопии.

своих подданных, его мудрые речи, мудрые и справедливые решения. «Киропедия» Ксенофонта явилась истоком не менее мощной традиции в истории европейской культуры — традиции просвещенного монархизма, которую редко сопоставляет с утопизмом, поскольку, с легкой руки Т. Мора, представляют утопию чаще республикой. Большинство историков утопии «Киропедию» Ксенофонта даже не упоминают, хотя имя Платона не обходит никто из них. Однако в идее просвещенного абсолютизма скрыты те основные признаки утопии, которые в состоянии объединить все виды утопий — «хозяйственные, социальные, нравственные», — стремление найти такие формы общежительства, при которых люди могли бы быть счастливы, и умозрительность конструкции, которая отличает не только суждения Т. Мора и Т. Кампанеллы, не только теории Оуэна и Фурье, но и любое повествование об идеальном монархе.

Одним словом, если писать полную историю европейской утопии, очевидно, нельзя ограничиваться только линией, идущей от Платона. Традиция, завещанная Ксенофонтом, не менее активна в истории европейской цивилизации, однако ее редко воспринимают как одну из составляющих утопических исканий человечества.

Возможно, что «вина» за это во многом ложится на Т. Мора, имя которого историки утопий называют обычно вслед за Платоном, перескакивая сразу через несколько веков, и который нашел для сконструированного им идеального государства очень удачное название, ибо, как известно, слово «утопия» позволяет двоякое толкование — «хорошее место» и «место, которого нет», то есть нечто вымышленное, созданное не природой, а воображением, разумом, мечтой. От него же идет и традиция считать утопией такое построение, в котором главную роль играет разумный, тщательно продуманный регламент общественного бытия. А. Фойгт в своем исследовании особо подчеркивает это обстоятельство, когда пишет, что «социальные утопии имеют дело с будущим человеческого общества, с будущим порядком государства и хозяйства, и только с ними. Они решительно отказываются делать предположения о могущем быть усовершенствовании человеческого духа или души в религиозном или нравственном смысле, а также требовать такового, чтобы с его помощью создать и лучшее государственное и социальное устройство... лишь обстоятельства хотят изменить утописты, они хотят создать новую обстановку для жизни человека. А тогда и человек, насколько это будет нужно, изменится»[1].

Утопия этого типа, по существу, скрывает в себе недоверие к человеку — ведь для того, чтоб устроить жизнь по принципам добра, человека нужно обуздать, заковать в законы и регламенты. Так поступают Т. Мор, Т. Кампанелла и многие их последователи. Конечно, и человека они не упускают из вида. Недаром обоих основателей ранних утопий — и Платона, и Ксенофонта — объединяет мысль о воспитании. Создавая свое идеальное государство, Платон немало внимания уделил вопросам воспитания—снова отвлекаемся от конкретного анализа содержательной стороны учения Платона, — а важность воспитания для идеального монарха Ксенофонт подчеркнул даже названием своего романа: ведь «Киропедия» — это латинизированное греческое слово, означающее «воспитание Кира». И позднее просветительская утопия возлагала большие надежды на воспитание правителя и на просвещение народа. Однако в традиционной утопии главным, определяющим все же остается внешний по отношению к человеку, навязанный ему извне регламент, возведенный в закон.

Но европейская традиция вовсе не ограничена только такой формой утопии.

«Утопия» Т. Мора создана была в начале XVI века, в 1515 году, а в 1553 году вышла в свет первая часть романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», романа, который кроме всего прочего, был и спором с великим англичанином.

Историки и исследователи жанра утопии редко называют этот роман, даже ту часть его, которая рассказывает об организации Телемской обители: уж очень она непохожа на все Утопии и Государства Солнца, в ней

---

[1] Фойгт А. Социальные утопии. Пер. с нем. В. Ф. С.-Петербург, 1906. С. 10.

вроде бы и изучать-то нечего. У Т. Мора и Т. Кампанеллы масса материала для анализа, там есть схемы устройства общества, его социально-политической и хозяйственно-экономической жизни, там разработаны системы воспитания подрастающего поколения, а здесь — сказка какая-то. Ю. Кагарлицкий в разделе своей книги, посвященной утопии[1], присматривается к Телемской обители внимательнее и, противопоставляя ее «Утопии» Т. Мора, называет ее художественной утопией, так как это создание не экономического расчета (а именно экономическим расчетом объясняет исследователь необходимость строгой регламентации жизни в «Утопии» Т. Мора), а свободным полетом воображения. Эта утопия создана по законам красоты без заботы об экономике.

Однако главное для Ф. Рабле все же, пожалуй, не красота, а свобода. Ф. Рабле отрицает всякую внешнюю регламентацию поведения человека. Вспомним, что он говорит об укладе телемитов: «Вся их жизнь была подчинена не законам, не уставам, не правилам, а их собственной доброй воле и хотению... Их устав состоял только из одного правила:

Делай, что хочешь...»

Кажется, что Ф. Рабле выдает за идеал некую жуткую анархию, проповедует махровый индивидуализм, полное отсутствие порядка в обществе; осуществление на деле этого принципа и вообразить себе невозможно. Однако Ф. Рабле вовсе не был наивным мечтателем, он понимал, что далеко не всякий человек достоин жить по этому простому правилу, и, выбросив этот лозунг, он далее разъясняет: «ибо людей свободных, происходящих от добрых родителей, вращающихся в порядочном обществе, сама природа наделяет инстинктом и побудительною силой, которые постоянно наставляют их на добрые дела и отвлекают от порока, и сила эта зовется у них честью. Но когда тех же самых людей давят и гнетут подлое насилие и принуждение, они обращают благородный свой пыл, с которым они добровольно устремлялись к добродетели, на то, чтоб сбросить с себя и свергнуть ярмо рабства, ибо нас искони влечет к запретному и мы жаждем того, в чем нам отказано».

По этому правилу могут жить только люди благородные, нравственные, которым присущ инстинкт добра. И в свою Утопию Ф. Рабле допускает далеко не всех. Об этом красноречиво говорит и надпись, высеченная над входом Телемской обители. От стен обители изгоняются «лицемер, юрод, глупец, урод, святоша-обезьяна, монах-лентяй... интриганы, продавцы обмана, болваны, рьяно злобные ханжи...» В обители не находится места и для «стряпчего-лиходея... фарисея, палача... официалов всех мастей, сплетника, грубияна, супруга-тирана...» — одним словом, из обители изгоняются все социальные и нравственные пороки. Зато «господам честным, рыцарям лихим», кому «низость неизвестна», двери обители широко открыты.

Конечно, в рассуждениях Ф. Рабле наш современник без труда уловит противоречия и наивные нестыковки: честью человека вовсе не природа наделяет, да и ссылка на добрую природу человека, на естественную устремленность к добродетели в наше время ничего, кроме скептической улыбки, вызвать, пожалуй, не может. Но в этих мыслях писателя для нас важно другое. Ф. Рабле хотя и не указывает пока пути в Утопию — идея нравственного усовершенствования, нравственного прогресса овладеет умами в исторически более поздние времена, — тем не менее всей картиной жизни Телемского аббатства высказывает простую, но очень глубокую мысль: для Утопии нужны утопийцы; без них Утопия не состоится; в Утопии человек должен чувствовать себя свободным, ибо без свободы нет счастья, а пользоваться такой свободой не во зло другим могут только благородные, совершенные, нравственные люди. Это принципиально иной подход к решению вопроса о человеческом счастье, о счастливом обществе. Ф. Рабле подходит как бы с другого конца: он не верит, что жесткая регламентация жизни может сделать людей счастливыми, а в сообществе благородных, честных, чистых людей строгий регламент просто не нужен.

Кстати, исходя из всего сказанного выше,

---

[1] Кагарлицкий Ю. Что такое фантастика? — М.: Худ. лит.

едва ли правильно ограничивать разговор об утопии у Ф. Рабле только небольшим эпизодом, где речь идет об организации Телемской обители. Зерно раблезианской утопии, самый ее центр — образы его великанов, веселых, добрых, образованных, доброжелательных ко всем, неизменно сохраняющих душевное равновесие.

Такие традиции существовали в европейской мысли, когда к истории утопии присоединяется и Россия.

Историю русской утопии обычно начинают с XVIII века, когда в русской культуре начался тот процесс, который называют европеизацией. Конечно, если изучать историю утопического сознания в России в полном объеме, нельзя было бы обойти и литературу Древней Руси. Но в жанровом отношении эта литература столь своеобразна, что ничего, похожего на жанр утопии, как мы знаем его по европейской традиции, там мы увидеть, конечно, не можем. Кроме того, полное представление об утопическом сознании в России нельзя составить без рассмотрения иного уровня культуры — культуры народной, неписьменной, то есть таких явлений, как китежская, беловодская и новгородская легенды, религиозное сектантство, которое неотделимо от нравственных исканий и от поисков земли обетованной, и т. п. Однако, повторяем, мы сейчас сознательно ограничиваем свои задачи рассмотрением литературного жанра утопии при всем своеобразии, который этот жанр мог получить на русской почве. А история этого жанра в России начинается, конечно, с XVIII века.

Культурный слой России в XVIII веке хорошо был знаком и с Платоном, и с Ксенофонтом — его «Киропедия» в XVIII веке переводилась дважды. Известна была и «Утопия» Т. Мора и многие сочинения его последователей, как и последователей Ксенофонта. Особенно популярны были сочинения англичанина Рамзея «Новое путешествие Кира» и «Сетос» Террасона. Одним словом, русская интеллигенция того времени была хорошо знакома с утопической традицией Запада.

Однако приступая к разговору о русской утопии, исследователь сталкивается с противоречивым ощущением, с одной стороны, может показаться, что русская литература практически не породила утопии, во всяком случае, ничего, подобного известному сочинению Т. Мора, в ней отыскать не удается, а с другой — возникает странное чувство, что русская литература буквально вся пронизана утопическими тенденциями.

И в XVIII и XIX веках создано было немало произведений, по внешним признакам, по сюжетным решениям весьма напоминающих утопии. Прежде всего, это сны, с помощью которых авторы нередко попадали в неизвестную страну. Таких снов много, начиная от «Сна «Счастливое общество» А. Сумарокова и кончая «Сном смешного человека» Ф. Достоевского. Есть и путешествия, в том числе и морские, с бурями и кораблекрушениями, когда корабль прибивает к берегам неведомой страны. Наиболее характерным в этом отношении является «Путешествие в землю Офирскую» кн. М. Щербатова, написанное в конце XVIII века, но ставшее известным читателю только в конце XIX века. Однако ни одно из этих произведений не дает картину «порядка государства и хозяйства», что А. Фойгт считает наиболее характерным для европейской утопии.

Классическая европейская утопия повествует, как правило, о некоей вымышленной стране, сконструированной автором в соответствии с его представлением о должном. Конечно, намеки на Англию есть и в «Утопии» Т. Мора, но все же это не Англия, а совсем другой остров. Случаи исключения, когда автор прямо говорит о родной стране, чудесно преображенной его фантазией, крайне редки.

В русской утопии как раз наоборот. С вымышленной страной мы встречаемся весьма редко, чаще всего это все же Россия, но изменившаяся, похорошевшая, избавившаяся от тех недостатков, которые видит в ней автор.

Кн. М. Щербатов путешествует в «землю Офирскую», но уж очень откровенно русская география у этой страны, а названия городов, рек и областей — это намеренно измененные названия реальных русских рек и городов, однако измененные так, чтоб их все же можно было узнать. Так, город Перегаб — это Петербург, Квамо — Москва и т. п.

Но кн. М. Щербатов хоть замаскировал

Россию под некую неизвестную северную страну с намеренно библейским названием. А вот А. Улыбышев в «Сне» и В. Одоевский в «4338 годе» прямо говорят о России, какую они увидели во сне или в будущем. Да и прекрасное здание в четвертом сне Веры Павловны из романа Н. Чернышевского стоит на Оби, затем возникают и другие ориентиры — Одесса, Кавказ; собеседница Веры Павловны подчеркивает, что люди, которых они наблюдают,— русские, и не столько уж отдаленные потомки ее современников.

И какие-то это странные утопии. Вроде бы и все внешние признаки утопии порой налицо, а что-то мешает признать это сочинение утопией. Так, даже «Путешествие в землю Офирскую» М. Щербатова, хотя по форме оно ближе всего стоит к европейской утопии, итальянский исследователь С. Грачиотти отказывается признать собственно утопией и считает «этико-политическим трактатом», лишь «замаскированным под утопический рассказ»[1].

А «4338 год» В. Одоевского, произведение, которое всегда включается в небольшой список русских утопий, вполне может быть назван «технической фантазией, замаскированной под утопический рассказ». Утопического в традиционном плане — то есть социальной регламентации, хозяйственно-экономического устройства и пр.— там нет вовсе. О нравах, правда, речь идет. А главный интерес — техника будущего: аэростаты, гальваностатика, химия... Нет никакого стремления представить совершенное общественное устройство, продуманное и упорядоченное; просто автор дает полную волю своей фантазии, не ограничивая себя никаким планом, никаким отбором материала: вслед за восторженным рассказом о подземном туннеле — описание элегантных нарядов дам из «элластического хрусталя», их причесок и уборов «a la comète» и пр. Да и цель автора, указанная и предисловии, не заключает в себе собственно утопического задания; некий «сомнамбул», занимавшийся «месмерическими» опытами, заинтересовался годом кометы Вьелы, которая должна появиться над землей в 4338 году, и «ему захотелось проведать, в каком положении будет находиться род человеческий за год до этой страшной минуты; какие о ней будут толки, какое впечатление она произведет на людей, вообще какие будут тогда нравы, образ жизни; какую форму получат сильнейшие чувства человека: честолюбие, любознательность, любовь...» Здесь нет расчета на то, чтоб увидеть совершенство; автором движет любознательность, любопытство, ему просто интересно, как будут жить люди много веков спустя.

Все дело в том, что в России практически не было той утопии, которую можно было бы назвать социально-политической и в которой главную роль играл бы жесткий регламент, определяющий в классической утопии всю человеческую жизнь[2].

В свое время Р. Моль, явившийся первым классификатором утопий, разделил утопии на две категории: к первой он относит такие сочинения, авторы которых предлагают проекты коренного переустройства жизни, ко вторым — утопии, в которых предложены лишь частные изменения[3]. Как правило, первые из них и дают рецепт жестокой регламентации, так как автор придумывает весь порядок целиком. Вспомним хотя бы Т. Мора. В его идеальном государстве в каждом городе 6 тысяч семей, в каждой семье не более 16 взрослых лиц. Если оказывается больше, лишние переводятся в другую, более малочисленную семью; если население города вырастает, излишек переводится в другой город, где населения не хватает. А если во всей стране вдруг возникает такой излишек народонаселе-

---

[1] Грачиотти С. Функция утопии в русской литературе второй половины XVIII в. — В кн.: Славянские культуры и мировой культурный процесс. Минск: Наука и техника, 1985. С. 151.

[2] Правда, В. Святловский утверждает, что в русской утопии на первый план выдвигается идея «политического освобождения», а «поиски экономического идеала получали второстепенное значение» (см.: В. Святловский. Русский утопический роман. Петерб., 1922. С. 7). Относительно экономического идеала все верно, но что касается сосредоточения русской утопии на идее «полического освобождения», то анализ конкретного материала, пожалуй, говорит о другом.

[3] Моль Р. Об идеальных воззрениях на общество и государство. Извлечения из истории и литературы политических наук Роберта Моля. Оттиск из Арх. кн. п. Прил., отд. В.

ния, прибегают к эмиграции на материк, где возникает колония. Однако при нехватке населения в метрополии население этих колоний вновь переводится на остров. Жуткая картина! Это чисто умозрительное построение. Такие манипуляции можно производить разве что с оловянными солдатиками, но не с живыми людьми.

Ничего подобного в русских утопических сочинениях мы не встречаем, как не заметно в них и стремления коренным образом пересмотреть все основы жизни и дать совершенно новую, тщательно продуманную автором конструкцию. Даже в утопии «Сон» А. Улыбышева, родившейся в декабристской среде, сохраняется государь, облеченный любовью и доверием народа, уничтожены только фанатизм и деспотизм и введены законы (какие именно, автор не уточняет), не позволяющие царю злоупотреблять своей властью. Отсутствие такой детализации утопических мечтаний — очень характерный момент. Вкупе с нежеланием перекраивать основы человеческой жизни на почве отвлеченных рассуждений такой отказ от подробной детализации и позволяет избежать жесткой регламентации.

В XVIII веке многие оригинальные русские утопии восходят не к Т. Мору, а к Ксенофонту. Такова утопия М. Хераскова «Нума Помпилий», такова же утопия А. Сумарокова «Сон «Счастливое общество», в которой писатель в самом начале заявляет, что благоденствие его «мечтательной страны» дано ее мудрым правителем, его «неусыпным попечением», потому он и начинает рассказ об этой стране с разговора о ее монархе.

Да и в XIX веке А. Вельтман написал книгу «МММСДХ VIII год. Рукопись Мартына Задека», которую порой включают в число русских утопий, а порой столь же решительно отказываются признать утопией, видя в ней столько мелодраматическую любовную историю. Однако если помнить о традиции, заложенной Ксенофонтом, который возлагал надежды на мудрого правителя, то эта книга, может быть, и не являющаяся большим достижением отечественной словесности (недаром она не переиздавалась), все же не должна быть, на наш взгляд, исключена из списка русских утопий, ибо там рассказывается о сказочном благоденствии, в котором пребывала страна при мудром и высоконравственном монархе, и о разрушении утопии, о той деградации, которую претерпевает общество, когда на престоле оказывается недостойный этого поста человек.

В целом же русские утопии, находится ли в центре внимания автора мудрый правитель, как у М. Хераскова и А. Вельтмана, или, в преддверии всякого рода технических революций, наука и техника, как у В. Одоевского, создатели этих утопий, как правило, уповают не на закон и регламент, а на нравственность. Русскую утопию по внутреннему ее смыслу, независимо от каких-либо внешних признаков, можно окрестить нравственной утопией, а не социальной или хозяйственной. Последние грани для русских утопистов второстепенны.

Не случайно многие утописты в России намеренно подчеркивают немногочисленность «Узаконений» и регламентов. Так, А. Сумароков в «Сне «Счастливое общество» прямо говорит, что «книга узаконений их не больше нашего календаря» и что «правительств немного». Отсутствие подробных регламентов, многочисленных законов при наличии высокой нравственности отмечают и М. Щербатов, и А. Улыбышев.

Ни одна из русских утопий не является всеохватной, то есть ни в одной из них не дана подробная, исчерпывающая структура воображаемого общества; практически в каждой из них можно наблюдать небрежную приблизительность при описании политической жизни страны, законов и регламентов, за исключением, разве, сочинения М. Щербатова, и хозяйственная, экономическая сторона дела не волнует русских утопистов.

Но каждая из утопий прежде всего обращается к нравственности. М. Щербатов уже в предисловии к своей книге заявляет, что в стране Офир «вельможи не пышные, не сластолюбивые, похвальное честолюбие имеют соделать счастливыми подчиненных им людей; остаток же народа, трудолюбивый и добродетельный, чтит, во-первых, добродетель, потом закон, а после царя и вельмож».

Мы не хотим сказать, что добродетель и нравственность не занимали Т. Мора и других западных утопистов. Занимали, и даже

очень. Т. Мор восхищается высокой честностью утопийцев, за эту честность и неподкупность жители окрестных стран приглашали их нередко на посты правителей. Но вот что интересно. Их неподкупная честность объясняется у Т. Мора тем, что каждый из них знал, что рано или поздно ему придется вернуться в Утопию. Интересно, не правда ли? Нравственность в «Утопии» Т. Мора имеет не внутренние, а внешние основания, и самая строгая регламентация, тщательно и четко разработанная система законов, обычаев, внешних ограничений свободы и поддерживает нравственность в Утопии на высоком уровне.

В русской же утопии внешние формы общественной организации, как правило, заменяются нравственностью и добродетелью, имеющими не внешние, а внутренние основания, внешний регламент, являющийся в конечном итоге все-таки насилием над личностью, поскольку Т. Мор и другие утописты этого типа не видели других путей ввести в разумные границы своеволие личности, заменяется в нравственной утопии некоей внутренней саморегуляцией личности.

Интересно, что тонюсенький кодекс установлений счастливого общества А. Сумарокова открывается главным законом: «Чего себе не хочешь, того и другому не желай». Это не закон в административном или юридическом смысле слова, это нравственная норма поведения, которая может признать только суд совести, но не суд какой-нибудь палаты или любого государственного органа, поскольку желания подсудны только суду совести, а не внешнему суду, имеющему дело с поступками.

Относительно XVIII века еще не приходится говорить в связи с русской утопией об идее нравственного развития как основе утопических надежд, а вот в XIX веке эта тенденция становится ведущей.

В «Европейских письмах» В. Кюхельбекера находим мы восторженный пассаж, отражающий надежды автора в первую очередь на нравственное усовершенствование, на победу человечности в человеке: «Самые заблуждения, самые пороки и злодеяния не были бесплодны — ибо они служили к открытию истины, ибо они доказали людям непреложность того, что было так часто повторяемо, но так редко чувствовано и понято, что отступить от правил честности и добродетели — значит, добровольно отказаться от счастья, что быть счастливым и быть благоразумным — все равно. Не сомневаюсь, что настанет время, когда быть порочным и быть сумасшедшим — будет одно и то же.

Мы уже гораздо менее злополучных предков наших удалены от сего блаженного века. Конечно, пройдут, быть может, еще тысячелетия, пока не достигнет человечество сей высшей степени человечности. Но оно достигнет ее, или вся история не что иное, как глупая и вместе ужасная своим бессмыслием сказка».

Если «Сон смешного человека» Ф. Достоевского, который неоднократно подвергался анализу, отнести не к идиллическим мечтаниям, а к утопиям, то он представляет собой нравственную утопию в самом откровенном ее варианте; там речь идет только о любви людей друг к другу как об основе их бытия, все внешнее просто исключается.

Особый интерес в этом плане представляет известный роман Н. Чернышевского «Что делать?», тем более что это не Ф. Достоевский, это один из наиболее рационалистически мыслящих русских писателей, а романы его предельно программны.

Чаще всего в связи с размышлением об утопии ведут речь о четвертом сне Веры Павловны, где дано прекрасное видение будущего. Это чисто художественная утопия, построенная почти по принципу Телемской обители Ф. Рабле, ибо она является воплощением красоты и свободы. «Делай, что хочешь» — главный закон Телемской обители — действует и здесь, ибо утопийцы Н. Чернышевского совершенно свободны в своем выборе и ничем внешним не стеснены. Даже мода, деспотическую власть которой ощущает и человек нашего времени, не давит на этих счастливых людей — они носят то платье, которое каждому из них удобно: «Здесь все живут, как кому лучше жить, здесь всем и каждому — полная воля, вольная воля».

Интересно, что Н. Чернышевский говорит не о свободе, а о воле. Свобода — понятие рационалистическое и в чем-то ограниченное,

свобода всегда связана с необходимостью, пусть даже и осознанной. Свободы, по Н. Чернышевскому, для человеческого счастья мало, нужна воля. Какой уж тут регламент!

Но утопией является не только эта часть романа; многоярусной утопией является весь роман, в котором автор пытается дать ответ на вопрос, что делать, чтобы попасть в утопию, увиденную во сне Верой Павловной.

Как первый шаг на этом пути воспринимается мастерская Веры Павловны. А история мастерской начинается с того, что Вера Павловна тщательно отбирает для организации своей «Телемской обители» чистых и честных девушек. Конечно, можно не согласиться во многом с Н. Чернышевским, можно увидеть в его общине, в его фаланстере большую коммунальную квартиру, в которой, если представить ее в реальной жизни, далеко не все сложилось бы так идеально. Не нужно забывать об умозрительности любой утопии, утопия Н. Чернышевского — не исключение. Но нас сейчас интересует не это, а то, что главное для автора не экономические выкладки, а общежительство, любовь и чистые отношения друг с другом. Вот на этих китах и держится утопическая мастерская Веры Павловны.

Но главное зерно утопии Н. Чернышевского даже не в мастерской Веры Павловны, а во взаимоотношениях героев и в теории разумного эгоизма. Эта теория — тот самый внутренний регулятор, который заменяет внешний закон и строгий регламент. Человек свободен в выборе линии своего поведения, но он никогда не позволит себе совершить поступок, причиняющей другому зло, и даже больше — не совершить поступок, приносящий другому добро. Появление новых людей, главным регулятором поведения которых становится теория разумного эгоизма, для Н. Чернышевского и является гарантом наступления всеобщего счастья, которое увидела в своем сне Вера Павловна.

И невольно возникает сопоставление со «Сном «Счастливое общество» А. Сумарокова. Ведь от принципа «Чего себе не хочешь, того и другому не желай» всего один шаг до теории разумного эгоизма, согласно которой человек не может совершить ничего, что нанесло бы ущерб другому, поскольку ему хорошо только в том случае, если хорошо другому. То обстоятельство, что нравственные критерии выдвигаются в русской утопии на первый план, объясняет и странное ощущение, что хотя в русской литературе прямых утопий наблюдается очень мало, она вся пронизана утопией. Мы имеем в виду вовсе не те утопические вкрапления, которые мы находим, например, в «Письмах Эрнеста и Доравры», тем более что такое можно сплошь и рядом наблюдать у Фенелена, Фонтенеля и других западных авторов. Мы имеем в виду то, что С. Грачиотти называет «утопическими ценностями», «утверждаемыми и воплощаемыми вне рамок этого литературного жанра»[1], в частности, «утопическую совесть», которую исследователь обнаруживает и в «сугубо реалистических и сатирических произведениях» Красицкого, и у Радищева, и не только в его «Путешествии», но и в стихотворении «Осьмнадцатое столение».

В XIX веке то, что С. Грачиотти назвал «утопической совестью», переросло в идею нравственного прогресса, нравственного самосовершенствования и породило своеобразное явление, которое можно бы назвать «утопическим характером». «Утопический характер», вера в возрождение, воскресение человека, в возможность появления нравственного человека, который один только и может утвердить на земле утопию, совершенное общественное бытие, на разных уровнях наблюдается и у Н. Гоголя, и у декабристов, и у Л. Толстого, Ф. Достоевского, И. Тургенева, и, конечно же, у Н. Чернышевского. Но этот вопрос требует уже особого разговора.

Что же касается той традиции регламентированного бытия, которое обычно и ассоциируется с представлением о литературном жанре утопии, то, пожалуй, первой утопией, написанной в этой традиции, оказалась книга А. Богданова «Красная звезда», появившаяся уже в начале XX века (1908) и, надо признаться, мало связанная с отечественной культурной традицией.

---

[1] Грачиотти С. Функция утопии в русской литературе второй половины XVIII века... С. 149.

В то же время в русской литературе, при малом, в общем-то, количестве утопий, весьма заметны произведения, являющие собою картину разрушения, крушения, гибели утопии, созданной на основе умозрительной и односторонней теории («Город без имени» В. Одоевского, «Республика Южного Креста» В. Брюсова). Как правило, причиной крушения оказывается пренебрежение духовной сущностью человека, увлечение как раз внешними обстоятельствами жизни.

Однако самым показательным в этом плане оказывается русская антиутопия. Происхождение этого жанра — вопрос довольно сложный. Зачатки его можно усмотреть уже в XVIII веке. Ведь критика и даже сатира — эта вторая сторона жанра; а антиутопии же критика направлена в адрес самой утопии, там отвергаются умозрительные проекты перестройки человеческой жизни, и писатели, воспитанные в трациции отечественной мысли, скоро стали воспринимать общество, подчинившее жизнь строгому регламенту, как начинание бесчеловечное, ведущее к трагедии, к краху. Ведь если присмотреться с этой точки зрения к «подвигам» последнего градоначальника города Глупова из «Истории одного города» М. Салтыкова-Щедрина Угрюм-Бурчеева, то его проекты перестройки города весьма многозначительны: ведь по прямой линии строили не только военные поселения, строители городов солнца тоже обожали правильность геометрических фигур.

Картина упорядоченного общества, в котором человеку живется трудно, неуютно, одиноко, представлена и в «Вечере 2217 года» Н. Федорова. Но вершинным произведением этого жанра, сразу определившим собою традицию и ставшим классическим, является роман Е. Замятина «Мы», в котором жестко регламентированное общество просто ужасает своей бесчеловечностью. Недаром этот роман послужил образцом для западных классиков этого жанра — О. Хаксли и Оруэлла.

Одним словом, русская утопия не только существует, но и имеет свою историю и неповторимый облик и колорит, определяемые общей направленностью исканий русской культуры. А в XX веке русская утопия начинает все активнее влиять на развитие этого жанра в целом, на утопические искания человечества в мировом масштабе. И мы имеем в виду не только «антиподный» жанр антиутопии (Е. Замятин), но и «Туманность Андромеды» И. Ефремова, всемирный успех которой — явление общеизвестное, но тоже требующее еще изучения и осмысления. Ведь И. Ефремов своей утопией напомнил о свете и радости счастливого общежительства, о котором всегда мечтало человечество и которого всегда искали русские утописты.

Чернышева Татьяна Аркадьевна — родилась в г. Иркутске, окончила историко-филологический факультет Иркутского университета, в настоящее время — профессор кафедры русской и зарубежной литературы ИГУ, доктор филологических наук, автор книги «Природа фантастики» (Иркутск: ИГУ, 1984) и статей о фантастике.

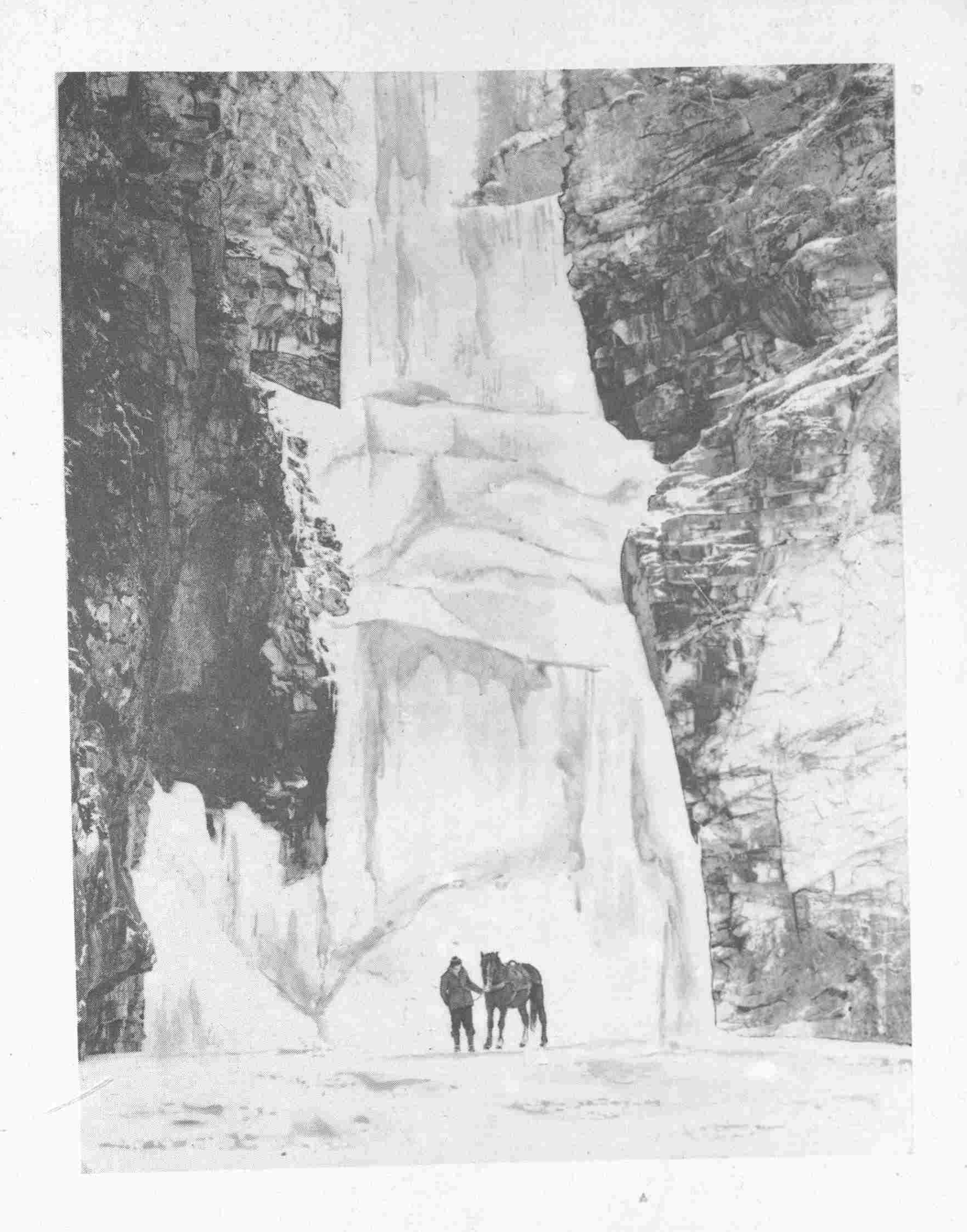
Составитель В. В. Козлов
Художественный редактор А. Г. Маклыгин
Технический редактор Л. А. Жернова
Корректор Т. В. Германова

РУКОПИСИ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Адреса редакции:
664000, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40.
Союз писателей, тел. 24-56-76.
672000, г. Чита, ул. Богомягкова, 23.
Союз писателей, тел. 3—45-78.

ИБ № 1564.
Сданo в набор 25.09.90.
Подписано в печать 6.12.90.
Формат $70 \times 90^{1}/_{32}$.
Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 9,36.
Усл. кр.-отт. 9,65. Уч.-изд. л. 12,06.
Тираж 12 000 экз. Заказ 1744.
Изд. № 6388. Цена 70 к.

Восточно-Сибирское книжное издательство Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
664000, Иркутск, ул. Марата, 31.
Типография издательства «Восточно-Сибирская правда». 664009, Иркутск, ул. Советская, 109.



70 к.

Си

6'90

Читайте
в следующем номере:

Интервью с академиком
Игорем ШАФАРЕВИЧЕМ

Анатолий СИРИН.
Вознесенский монастырь

Борис ЛАПИН.
Голубые зарницы Язона

ИНДЕКС 73380